НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 2007

ДОРИС ЛЕССИНГ

СОЗДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ВОСЕМЬ

•

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ В ИМПЕРИИ ВОЛИЕН



КАНОПУС В АРГОСЕ: АРХИВЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АМФОРА»

Создание Представителя для Планеты Восемь

Дорис Лессинг

Аннотация
Создание Представителя для Планеты Восемь
Послесловие
Библиография

Аннотация

Повесть «Создание Представителя для Планеты Восемь» является четвертой книгой знаменитой «космической» пенталогии Дорис Лессинг, повествующей о противоборстве трех могущественных космических империй — Канопуса, Сириуса и Путтиоры.

Создание Представителя для Планеты Восемь

Вы спрашиваете, какими нам виделись канопианские агенты во времена Великого Льда?

Как правило, к нам приезжал Джохор, хотя абсолютно все они прибывали без предварительного уведомления и как бы ненароком, оставаясь на короткий, либо продолжительный срок, и в течение этих приятных визитов — ибо мы всегда с нетерпением ожидали канопианцев — давали нам советы, показывали, как можно более эффективно использовать ресурсы нашей планеты, привозили с собой приборы, объясняли новые методики и показывали технические приемы. А затем исчезали, даже не сказав, когда мы вновь увидимся с представителями Канопуса.

Канопианские агенты не слишком отличались друг от друга. Я и остальные, кого направляли на другие Колонизированные Планеты для инструктажа или обучения, знали, что чиновников Канопианской Колониальной Службы всегда легко распознать по тому влиянию, которым все они обладают. Но это было отображением черт

характера, а не следствием высокого положения в обществе. На всех других планетах канопианцы всегда выделялись из местных жителей, нам стоило лишь узнать, на что обращать внимание. И благодаря этому мы лучше поняли, что же они несут нашей Планете Восемь.

Все на Планете Восемь, что было спланировано, построено, создано — все, что не являлось природным, — отвечало их спецификациям. Присутствие нашего рода на планете было обусловлено ими — Канопусом. Они привезли нас сюда — вид, созданный ими из расы, обязанной своим происхождением нескольким планетам.

Поэтому говорить о подчинении было бы неверно: говорит ли кто-нибудь о подчинении, когда это является вопросом его происхождения и существования?

Или говорит ли кто о восстании…

Однажды восстание чуть не произошло.

Это случилось, когда Джохор сказал, что мы должны окружить наш маленький шар высокой и широкой стеной, и снабдил инструкциями, как создать строительные материалы, тогда нам неизвестные. Нам необходимо было перемешать в определенных пропорциях химикалии с нашим местным дробленым камнем. Воздвижение этой

стены заняло бы всех нас, все наши силы и все наши ресурсы на длительное время.

Мы указали на это — как будто Канопус этого не знал! Это был наш протест — так мы называли это между собой. И это было пределом нашего «восстания». Насмешливое молчание Джохора говорило нам, что стену придется построить.

Зачем?

Мы это узнаем, был ответ.

Ко времени, когда стена была завершена, те, кто были младенцами в начале ее строительства, уже состарились — как это произошло со мной, — и дети их детей увидели торжественную церемонию, когда последняя блестящая черная плита была водворена на верхнюю часть сооружения, бывшего в пятьдесят раз выше нашего самого высокого и необычайно широкого здания.

Она была просто чудом, эта стена.

Черное *нечто,* окружавшее наш шар — не через его самую широкую часть, не посередине, — притягивало нас к себе, захватывало наши умы, наше воображение, поглощало нас. Постоянно можно было видеть, как кучки, группы и толпы местных жителей стояли на ее верхней части или на смотровых платформах, размещенных вдоль стены, специально для этой цели, или же на

возвышенностях, превосходивших ее высотой, — возвышенностях, находившихся на расстоянии, ибо ничто поблизости не могло предоставить достаточного обзора. Мы были там и ранним утром, когда над стеной вспыхивало солнце, и днем, когда сверкающая чернота отражала свет и окрашивала небо, и ночью, когда искрящиеся скопления звезд Планеты Восемь словно бы сияли сквозь нее, как из глубины темных вод. У нашей планеты не было лун.

Эта стена стала нашим достижением, нашим прогрессом, нашим итогом и определением: в других отношениях мы уже больше не развивались, наше благосостояние не росло. Мы уже не предполагали, как это было в прошлом, что будем постоянно наращивать свои ресурсы: без конца совершенствовать, оттачивать и делать все более изобретательным наш образ жизни.

Стена. Огромная черная сияющая стена. *Бесполезная* стена.

Джохор и другие канопианцы говорили: подождите, в свое время вы увидите и поймете, вы должны верить нам.

Их посещения участились, и их инструкции не всегда были связаны со стеной; сущность же и цели того, что нам приходилось делать, постичь

было нелегко.

Мы чувствовали, что перестали понимать. *Раньше* мы понимали — или верили, что понимаем, — что Канопус хотел для нас и от нас: мы участвовали, на их условиях, в длительном, медленном восхождении к цивилизации.

В этот период изменений, когда наши надежды относительно нас самих и наших детей умерились, наш мир оставался все таким же — приятным и очень красивым, с мягким климатом. Как и всегда, мы продолжали выращивать урожай и скот, обменивая излишки на то, что производили на соседних планетах. Наше население оставалось точно на том уровне, что требовал от нас Канопус. Наше богатство не росло, но мы и не были бедными. Мы не страдали от жестокостей и опасностей.

Мы были благодатной планетой, и климат у нас был замечательный. Другие планеты страдали от его крайностей — им были известны жара, от которой сходила кожа и иссушался организм, и холод, из-за которого огромные пространства оставались незаселенными. Положение Планеты Восемь относительно ее солнца было таково, что в узкой центральной зоне стояла жара, порой действительно причинявшая неудобства. По

обеим сторонам от нее простирались умеренные пояса. Полюса, правда, были холодными регионами — но они были весьма малы. Ось планеты была вертикальной — или же наклон был таким незначительным, что не привносил никаких изменений. У нас не было времен года, как на других планетах.

В областях, где все мы жили, никогда не видели снега и льда.

Мы, бывало, говорили своим детям: «Если пойдете, насколько только сможете далеко, туда или туда, то попадете в места, которые находятся дальше от солнца, чем наше. Там вы найдете густую воду, не светлую и быструю, как у нас. От холода вода замедляется, и на ее поверхности во время течения образуются складки, а иногда и твердые пластины. Это лед».

Когда изредка бури приносили с неба куски льда, это было настоящим событием. Мы созывали своих детей и говорили им: «Смотрите, это лед! На полюсах нашего мира холодная медленная вода иногда создает это вещество, вы можете пройти полдня и так и не увидеть иной воды, кроме такой вот — белой, твердой и сверкающей».

А когда они становились постарше, мы объясняли: «На некоторых других планетах льда на

поверхности столько, сколько на нашей лесов и плодородных полей».

И еще мы говорили им: «На нашей планете, в тех областях, что лежат за солнцем, с неба иногда падают маленькие белые хлопья, такие легкие и нежные, что их можно сдвинуть с места дыханием. Это снег: так вода, которая всегда содержится в воздухе, но для нас невидима, изменяется в тех далеких местах, когда замерзает от холода».

И дети, конечно же, восхищались и удивлялись, жалея, что не могут увидеть снег, студеные воды и лед, который иногда образует корки и даже пластины и обширные покровы.

А затем выпал снег.

По светло-голубому, залитому солнцем небу неслись плотные серые облака и осыпались на нас белым роем, а мы стояли повсюду и смотрели то вверх, то вниз и вытягивали руки, и легкие белые хлопья из сказок наших детей лежали на них какое-то мгновенье, а потом таяли, превращаясь в капли и лужицы.

Снегопад не продолжался долго, зато был обильным. Только что наш мир был, как обычно, зеленым и коричневым, расцвеченным сияющими и искрящимися потоками воды и неспешным ходом легких облаков. А уже в следующий миг

он стал белым. Белым повсюду, и лишь стена вздымалась чернотой, с белым гребнем наверху.

Очень часто, вглядываясь в прошлое, мы говорим, что тогда не поняли ясно всей важности происходящего события. Но я могу сказать, что это падение белых хлопьев с нашего широкого и спокойного неба стало тем, что засело в нас, наших умах и нашем сознании. О да, мы все знали, мы все понимали. И, вопросительно заглядывая друг другу в лица, надеясь найти там подтверждение собственных чувств, мы находили его — будущее.

Эта картина стоит у меня перед глазами так же ясно, как и другие. Мы все выходили из своих жилищ, собирались повсюду в группы и небольшие толпы и вглядывались в нечто большее, чем то холодное и белое, что столь внезапно накрыло нас.

Мы были высокими гибкими людьми, изящно, но крепко сложенными, с коричневой кожей, черными глазами и длинными прямыми черными волосами. В одежде и обстановке наших домов мы предпочитали сочные и живые цвета — ведь именно это мы и видели, когда смотрели на наш мир: обширная голубизна неба, бесконечная зелень листвы, наша красно-коричневая

земля, горы, сверкающие пиритами и кварцами, блеск вод и солнца.

Нам даже и в голову не приходило задумываться о нашей гармонии с окружающим, но в тот день это произошло. Мы всегда казались самим себе не иначе как миловидными, но на фоне белого сверкания, все теперь покрывавшего, мы показались себе тусклыми и увядшими. Наша кожа стала желтой, а глаза сузились и растянулись, ибо мы могли переносить холодный блеск, только щуря их. Сочные цвета наших одежд стали грубыми. Мы стояли и дрожали из-за внезапно понизившейся температуры, и повсеместно можно было увидеть один и тот же невольный жест — жест людей, которые смотрели друг на друга и находили увиденное уродливым, а затем — когда они осознавали, что такое же впечатление сами производят на других, — опускали глаза и обхватывали себя руками, и не только из-за холода, но и потому, что нуждались в поддержке и утешении.

Агенты Канопуса прибыли, когда снег все еще лежал нерастаявшим.

Их было пятеро — не один или два, как обычно — и нас поразило уже одно только это. Они оставались с нами, когда снег растаял и наш мир

вернулся к своей теплоте и уютным цветам произрастания и когда снег выпал снова, на этот раз пролежав дольше. Не уехали они и после того, как это второе нашествие белизны закончилось — хлопья съежились и исчезли. Канопианцы никогда ничего не требовали, официально не объявляли и не угрожали — они даже не взбирались на гребень нашей стены, как это порой делали мы, если хотели обратиться к огромным толпам народа. Нет, они спокойно передвигались среди нас, оставаясь какое-то время в одном жилище, а затем переходя в другое, и так и не сказали тогда ничего волнующего и мучительного. И лишь по прошествии длительного времени они объяснили, что же от нас требовалось.

Снег будет выпадать снова, и гораздо чаще. Баланс тепла и холода на нашей планете медленно изменится, и снега и льда у нас постепенно станет больше, чем песка и растительности. И мы должны сделать это, это и это, чтобы подготовиться…

Нам объясняли, как обитатели планет с более суровым климатом противостоят холоду. Мы услышали о домах, построенных основательно и прочно, дабы выдерживать вес снега и напор ветров, каких мы прежде не знали. Нам рассказали об одежде и обуви, и как правильно укутывать

голову плотной тканью, чтобы оставались открытыми только глаза — последнее ужаснуло нас, ибо из-за снегопадов, которые мы до этого видели, мы лишь дрожали да плотнее заворачивались в наши легкие одежды.

Пока мы планировали защитить в первую очередь ближайшие к полюсам поселения и города, Канопус объявил нам, что мы должны покинуть их совсем. Днями и ночами вдоль нашей великой черной стены теснились толпы людей. Мы стояли на ней, мы собирались рядом с ней. Мы возлагали руки на ее холодный суровый блеск. Мы взирали на ее громадную тяжесть и мощь. Мы толпились у ее подножия, задирали головы и смотрели, как она взмывает, и чувствовали, что это наши безопасность и гарантия. Стена, наша стена, наш великий черный бесполезный монумент, поглотивший все наше богатство, наш труд, наши мечты и наши способности… Она спасет нас всех.

Теперь мы все должны были жить лишь с одной ее стороны, оставив меньшую часть нашего шара, поскольку эта территория скоро станет непригодной для жилья. Мы странствовали, многие из нас, по тем умеренным и приятным землям, где в полях все еще оставались посевы, где все еще

пестрела красками растительность и где все еще было тепло. Мы ездили туда — тут не могло быть сомнений, — потому что хотели понять. Ибо мы не понимали. Можно кому-то что-то сказать, и он будет действовать согласно сказанному, верить в это — но это отнюдь не то же самое, что *ощущать* это, считать правдой. Мы — те из нас, кому была поручена задача по переселению жителей из мест, оказавшихся под угрозой, — постоянно работали, в своем воображении, над задачей *действительного* постижения того невероятного факта, что вскоре здесь будут царствовать лед и снег. И те, кто должен был подчиниться канопианцам и покинуть насиженные места, тоже не понимали этого.

Вскоре новые города и мануфактуры появились повсюду с той стороны стены, где, как мы полагали, все останется более или менее прежним… Может, со снегом и даже бурями, но все же не будет слишком отличаться от того, что мы знали.

И вот теперь, когда мы собрались на верху заграждающей стены, которая должна будет сдерживать натиск скапливающегося и надвигающегося льда, и всматривались в пока еще мирный пейзаж, в плодородные земли пока что без признаков тревожного будущего — за исклю-

чением неба, выглядевшего мертвенно-бледным и сжавшимся, — мы испытывали печаль, мы были поражены и парализованы печалью, ибо мы наконец-то смогли ощутить, действительно ощутить, в своем существе, в самой глубине души, что наш мир, наш образ жизни, все, чем мы были, — закончилось. Завершилось.

Как же темно было в наших умах и надеждах в тот подготовительный период, пока мы занимались переселением в новые дома огромного количества людей, пока мы разбирались, в чем могли, с помощью Джохора и других эмиссаров, которых прислал Канопус.

А затем мы ждали. Скопившись — ибо теперь нас было слишком много, нам стало тесно — на обитаемой части нашего мира, мы стали думать так: по крайней мере стена, хотя она и постоянно напоминает о нашем плачевном положении, является зримым доказательством того, что у нас есть будущее. У нашей планеты есть будущее.

Время, что прошло после, казалось нам долгим, да таковым оно и было на самом деле; но оно еще и замедлялось событиями и мыслями, переполнявшими его. Наша жизнь, бывшая некогда легкой, стала тяжелой, идеи, что некогда осели в наших умах без каких-либо сомнений, были по

отдельности проверены и — поскольку для нас все изменилось — большей частью отвергнуты.

Богатые урожаи, которые мы раньше собирали и благодаря которым нас знали на всех ближайших планетах, остались в прошлом. Животные, которых мы понимали и которые понимали нас, выродились и исчезли, и у нас появились новые виды животных, но они из-за условий жизни были вынуждены противостоять невзгодам и опасностям и поэтому не отвечали нам преданностью. Раньше мы даже и не знали, насколько были счастливы, потому что и в полях, и среди дикой природы нас всегда встречали любящие твари. Помню, как я и некоторые другие представители округов и провинций вышли из города, служившего местом проведения собраний, в долину, где мы привыкли прогуливаться, чтобы отдохнуть после наших обсуждений; и были там свежая яркая зелень, бегущие ручьи и светлые, быстрые, игривые животные, были склоны холмов, покрытые жестким сероватым кустарником, скалы, на которых росли новые виды лишайника, серого и плотного, словно мех, — и еще, помню, нам встретилось стадо тяжеловесных животных с мощными челюстями — они смотрели на нас, опустив рога и прочно расставив огромные ко-

пыта. И пока мы стояли, пытаясь не испугаться, поскольку научились опасаться своих бед, их серовато-коричневые лохматые шкуры посветлели до серебристого серого цвета. Воздух был пронизан сероватыми крошками. Мы вытянули руки и увидели, что животные наполнились этим жестким серым веществом. Казалось, что серое небо опустилось, отягощенное собственным весом. Мы стояли, дрожа и кутаясь в новые одежды, шить которые научили нас канопианцы, — толстые, теплые, не очень удобные для движений, — и мы стояли там долго, несмотря на холод, зная, что нам необходимы подобные моменты пронзительного откровения, дабы мы могли измениться внутренне, в соответствии с внешними переменами.

Часть нашего мира за стеной стала теперь серой, студеной, вялой и холодной, наполненной творениями холода. Сперва на планету обрушились жестокие морозы, вызвавшие растрескивание, а затем и раздробление камня, из-за чего изменился вид гор — они рассыпались и осели; гнетущие небеса стали ниже, ибо облака уплотнились и потемнели; затем повалил снег, обильно и шквалами; а после начались настоящие бураны, которые длились сначала день, а

потом уже и несколько. Мир за нашей стеной стал белым, и к нам гуртами валили новые животные: шкуры засыпаны снегом, морды угрюмые. Но снег таял, оставляя серые и коричневые пространства, а затем выпадал снова и снова и уже не таял так быстро, а затем и вовсе перестал таять.

Канопус сказал нам, что мы, Представители, должны обойти свою планету по верху стены. В путь отправилось около пятидесяти из нас, и агенты Канопуса тоже пошли с нами. Эта задача отняла у нас почти год. Мы шли против, а не по направлению вращения планеты, поэтому солнце всегда восходило перед нами, и нам приходилось оборачиваться, желая посмотреть, как при наступлении вечера собираются тени. Поскольку стена была сверху довольно узкой, мы двигались по двое или по трое в ряд, и те, кто шел в конце нашей группы, говорили нам, какими крохотными и малочисленными выглядели мы под небом, заполнявшимся справа от нас снежными облаками. С другой же стороны стены, хотя и далеко по направлению к полюсу, небо все еще часто оставалось голубым, а иногда даже теплым, и там зеленела и коричневела летняя земля, а реки были быстрыми и живыми. Справа от нас суровый серый пейзаж вновь и вновь скрывался

под снегом. Нам было видно, что белизна холода подкрадывалась к далеким горам, покрывала предгорья и простиралась по долинам.

А ветры, что набрасывались на нас оттуда, мучили наши легкие и жгли глаза, так что мы отворачивались и смотрели на другую часть нашего мира, которая все еще говорила: добро пожаловать, природа здесь такая же теплая и уютная, как и ваши тела. Но Канопус заставлял нас — мягко, но непременно убеждаясь, что так мы и поступаем, — смотреть как можно дольше на мир холода.

И так мы продвигались вперед, день за днем, и шли мы словно в саму распространяющуюся гибель, ибо вскоре видели даже с левой стороны стены, как тускнеют и усыхают травы, как растительность утрачивает свое великолепие, как небеса опускаются, наполняясь белым сиянием уже где-то за пределами голубизны. А справа снега все подступали и подступали к нам, и привычные нам ландшафты узнавались уже с трудом.

Однажды мы все стояли на нашей заграждающей стене и всматривались в замерзающую необъятность, и агенты Канопуса тоже были с нами, и мы увидели, что гигантские тяжеловесные

животные, привезенные к нам Канопусом с других Колонизированных планет, скапливаются у самой стены. Они собирались там в огромные стада, подгоняемые снегом, и поднимали свои большие головы, свои дикие загнанные глаза к стене, которую не могли преодолеть. Недалеко впереди располагалась узкая брешь, которую мы закрыли раздвижными воротами в половину высоты стены.

Канопианцам не пришлось нам объяснять, что мы должны делать. Некоторые из нас спустились со стены на сторону суровых земель, где травы уже давно увяли, оставив лишь тонкий покров лишайника, и открыли ворота. Стада подняли головы, закачали рогами, в нерешительности переступая ногами, а затем увидели, что это их спасение — и сначала один зверь прошел через брешь, затем другой, и вскоре со всей замерзшей земли шли напирающие и ревущие стада животных, и все они, одно за другим, проходили через брешь. До чего же медлительными и неповоротливыми были эти звери! Мы так и не смогли привыкнуть к их массивности, тяжеловесности и неповоротливости. Они были снабжены рогами, которые у своего основания казались толще наших бедер, и порой их было четыре

и даже шесть. Их копыта оставляли опечатки, которые образовывали озерца. Плечи их, поддерживающие невероятную массу костей, были подобны склонам холмов. Глаза были красными, дикими и недоверчивыми, словно судьбой этих животных было вечно вопрошать, за что же им суждено носить такую массу костей, рогов, мяса и меха, который свисал с них подобно огромным палаткам.

Стада все шли и шли через брешь в стене, отняв у нас двадцать дней, и вскоре уже ни одного из этих животных не осталось в той части нашего мира, что была обречена на поглощение холодом. Все они оказались в более благодатных землях — и мы знали, без всякого объяснения Канопуса, что это значило.

Действительно ли мы полагали, что наша стена-защитница остановит весь снег, лед, все бури и оставит их на одной своей стороне, сохранив тепло и плодородие на другой? Нет, мы так не думали — но мы и не понимали по-настоящему, что опасность окажется столь велика и там, где мы все теперь жили… Где мы скапливались, собирались, теснились, испытывая такую нехватку еды и удобств, что наша прежняя жизнь казалась мечтой о какой-то далекой благодатной планете,

которую мы знали лишь понаслышке.

Мы стояли там, обозревая холмы и долины, где все еще росла трава, хотя и гораздо реже, и где воды текли пока что быстро и свободно. Мы видели, как повсюду расходились стада животных холода — найдя какую-то траву, звери издавали дикий ликующий рев, от которого у нас звенело в ушах. Мы были кучкой худощавых желтокожих тонкокостных птицеподобных созданий, облаченных в толстые шкуры и дико всматривающихся в пейзаж, который нам уже не соответствовал. Все более и более увлекаясь, мы обращали взоры вверх и уже не могли оторвать их от неба, где свободно летали птицы. Нет, это были не те прелестные птички теплых времен, что стайками и группками носились, кружились и пикировали как единое целое, подобно стремительно несущейся воде, молекулы которой кружатся в собственном танце. Это были птицы нынешних холодных времен, державшиеся по отдельности: орлы, ястребы, грифы, неспешно двигавшие крыльями — не махая ими, но удерживая равновесие. Их крылья были широкими, и глаза их сверкали из-под плотного оперения, и они кружили и носились по небу на дыхании ледяных ветров, что убивали столь знакомые нам

стайки, когда они порой появлялись. И вот, видя ярко окрашенные тельца, падающие в ледяном воздухе, мы смотрели вверх и воображали, что тоже видим леденящие порывы, низвергающие их с небес. Но они *были* птицами, эти большие дикие создания; они могли передвигаться; они способны были промчаться от одного конца долины к другому за время, на которое мы могли затаить дыхание. Некогда мы были подобны им, говорили мы себе, стоя там, на стене, медленные и неловкие в своих толстых одеждах — на стене, которая с обращенной ко льдам стороны потускнела и затуманилась, более не сияя ярко-черным, но лишь оттеняясь серым. Тронутым морозом серым.

Теперь, когда все стада прошли через стену, мы закрыли брешь, задвинув ворота. Но агенты Канопуса сказали, что, как только мы вернемся в наши дома, следует немедленно выслать рабочие команды и этот проход, а также все остальное, заделать так же прочно и основательно, как и всю стену. Ибо те бреши, что было велено оставить в ней задолго до наступления холодов или хотя бы их первых признаков, дабы спасти животных, которые даже еще не были доставлены на нашу планету, выполнили свое предназначение. Они

больше не были нам нужны. Стена должна быть безупречной, цельной, монолитной, без изъянов.

После этого мы шли вперед еще несколько дней, и вот разразилась снежная буря такой мощи, какую мы даже и вообразить не могли. Мы жались у безопасной стороны стены, а ветры завывали над нами и иногда обрушивались на нас сверху, и мы дрожали, мы съеживались и понимали, что пока еще и не представляем, с чем всем нам придется столкнуться. А когда завывания и избиения прекратились и мы взобрались наверх по небольшим выступающим ступеням — очень осторожно, ибо их покрывал слой льда, — то увидели, что на холодной стороне выпало столько снега, что все впадины и высоты ландшафта оказались завалены вздымающейся белизной, а стена теперь была видна лишь наполовину.

К тому времени мы были уже недалеко от места нашего выступления, и все мы жаждали вернуться домой, в свои новые толстостенные капитальные жилища с крышами, установленными так, чтобы отражать любой снегопад, — так мы считали. Но теперь засомневались. Не шли ли мы туда, где придется жить под снегом, как некоторые твари живут под водой? Не придется ли нам рыть туннели и пещеры в подснежном

мире?

Однако на нашей стороне стены, где распростерлись наши города, деревни и фермы, еще оставалась кое-какая зелень, все еще блестела бегущая вода. Зная о нашем голоде, нашем отчаянии и наших стремлениях, агенты Канопуса теперь не заставляли нас отворачиваться от этой жизни, позволяя спотыкаться, когда мы выискивали теплоту, стараясь не замечать снежную пустыню, что надвигалась на нас.

Именно в эти дни мы с Джохором специально отстали от остальных, дабы поговорить наедине. Я слушал его и смотрел на своих спутников впереди, Представителей, и когда я понял, что услышанное сейчас предназначалось лишь для меня одного, не для них — ибо пока они не были готовы воспринять это, — мне открылся даже более глубокий смысл того, что предстояло. Но что могло быть еще хуже?

Впереди возвышалась наша великая стена, чернела над топями, где снег после бурана уже частично растаял, оставив лишь слабые белые полосы и пятна на темной воде. Мы стояли, Джохор и я, и смотрели, как удаляются наши спутники, превращаясь в движущиеся точки на гребне стены, где она поднималась, проходя по горному

хребту, и затем исчезала. Она поднималась снова, нам это было видно, все столь же могучая и высокая даже на таком расстоянии, полностью раскрывая свою сущность: по одну сторону громоздились снега, а по другую — чахлой травой да низкими серыми кустарниками кормились животные.

Джохор тронул меня за руку, и мы прошли вперед к месту, где болота лежали с обеих сторон. Справа темные воды с белыми прожилками представлялись каналами к миру снега и льда. Но с другой стороны болота были устьем, ведшим к океану. Так мы его называли, хотя в действительности это было огромное озеро, окруженное сушей. Нам рассказывали о планетах — а некоторые из нас и побывали на них, — где воды больше, чем суши, где частицы, участки и даже огромные пространства суши заключены в необъятность воды. Очень трудно поверить в нечто весьма отличное от собственного опыта. У нас все было по-другому. Наш «океан» всегда был для нас чудом. Драгоценностью. От него зависела наша жизнь, мы знали это, ведь благодаря ему создавалась наша атмосфера. Нам казалось, что он содержит далекие и редкие истины, служит нам символом того, что тяжело приобрести, но

что необходимо беречь и защищать. Тем из вас, кто живет на планетах, где жидкость распространена наряду с почвой, скалами и песками, будет так же сложно постичь наше лелеяние этого океана, как и нам представить планеты, на которых массы воды омывают целый шар в беспрестанном живом движении, постоянно утверждая единство, цельность, взаимодействие, скорое и свободное чередование. Ибо основой нашей жизни, веществом, связывавшим нас в целостность, была земля. О да, мы знали, что эта почва и скалы, создавшие нашу планету, со столь ограниченным содержанием в ней воды, да еще в единственном месте — за исключением ручьев и рек, питавших «океан», — были чем-то движущимся, точно так же, как движется вода; мы знали, что у скал есть свое течение, как и у воды. Мы знали это, ибо так нас научил думать Канопус. Твердость, неподвижность, постоянство — только так, глазами нашей Планеты Восемь, вынуждены были мы смотреть на вещи. Нигде, объявил Канопус, нет постоянства, нет непреложности — нигде, в галактике или во вселенной, нет ничего, что бы не двигалось и не изменялось. Когда мы смотрели на камень, мы должны были думать о нем как о танце или потоке. То же самое

относилось и к холму. Или горе.

Я стоял, повернувшись к ледяным ветрам спиной, а лицом к нашему драгоценному озеру, которое было скрыто от взора высоким перистым камышом, и думал: а как же лед? Должны ли мы рассматривать этого нашего нового врага как нечто текучее и движущееся? И именно в этот момент мне впервые пришла в голову мысль о том, что наш океан может замерзнуть. Хотя он и располагался на «безопасной» стороне преграждающей стены. Мысль обожгла меня ледяным холодом. Я знал, что так будет, и уже почувствовал кое-что из того, что собирался мне сказать агент Канопуса. Я не хотел оборачиваться и смотреть в глаза Джохору — смотреть в глаза неотвратимому.

Я почувствовал, как он коснулся моего локтя, и все-таки обернулся.

Я увидел Джохора таким, каким видел меня он, — хрупким и уязвимым под толстыми шкурами, руки спрятаны в рукавах, глаза выглядывают из-под надвинутого косматого капюшона.

Тяжело утрачивать ощущение физического соответствия — и вновь мой взор устремился к небу, где прямо над нами парил орел.

— Представитель, — мягко произнес Джохор, и

я заставил себя опустить взгляд к тому, что мне открывалось на его желтом лице. — Ваш океан замерзнет.

Я почувствовал, как под моей тонкой плотью съеживаются и дрожат кости.

Я попытался пошутить:

— Канопус может привезти нам новых животных с мощными, крупными костями, чтобы противостоять холоду, — но что вы можете сделать для наших костей? Или мы все вымрем, как вымерли наши другие животные, освободив путь для новых видов — новых рас?

— Вы не вымрете, — ответил он, и его твердые карие глаза — хотя и воспаленные, уставшие — удерживали мой взгляд.

Мне в голову пришла еще одна мысль, и я спросил:

— Ты родился не на Канопусе, как говоришь. Что же это была за планета, с которой ты пришел?

— Меня вызвали к существованию на теплой и спокойной планете.

— Какой когда-то была Планета Восемь.

— Как и та планета, на которую вы все отправитесь.

После этих слов я молчал очень долго. Мне

надо было упорядочить свои мысли, которые вихрем проносились в голове и не выстраивались в какую-либо схему, позволявшую задать содержательные вопросы.

Когда я немного пришел в себя, я все еще смотрел на Джохора: он стоял спиной к ветру, обрушивающемуся со снежных полей.

— Ты постоянно путешествуешь, — произнес я, — и редко бываешь на родной планете. Ты скучаешь по ней?

Эмиссар Канопуса не ответил. Он ждал.

— Если нам всем суждено отправиться из родного дома в космос, то зачем стена? Почему нас не вывезли, как только снег начал падать?

— Труднее всего понять любому из нас — каждому из нас, каким бы высоким ни было его социальное положение, — что все мы подчинены глобальному плану. Всеобщей Необходимости.

— И этот план оказался непригодным? — спросил я с горечью.

— Когда мы отправляли тебя на обучение на другие планеты, ты когда-нибудь слышал о планете под названием Роанда?

Я слышал, и мое любопытство переросло в ожидание — и даже в теплое и дружелюбное ожидание.

— Да, это прекрасная планета. И несомненно одна из наших самых удачных попыток… — Джохор улыбнулся, хотя мне не было видно его улыбки, я догадался лишь по глазам — его рот был укрыт. Я тоже улыбнулся — печально, конечно же. Ибо не так-то легко признать себя лишь одним пунктом из множества подобных.

— Наша несчастная планета — неудачная попытка!

— В этом нет чьей-то вины, — ответил канопианец. — Ситуация изменилась… непредвиденно. Мы были уверены, что Планете Восемь предопределены стабильность и медленный рост. Когда оказалось, что это не так, мы решили переселить вас на Роанду. Но сначала там должна быть завершена еще одна фаза развития. Вопрос заключается в повышении определенного вида до уровня, когда вы — после того, как ваш вид будет туда доставлен, — сможете образовать гармоничное целое. Пока это неосуществимо. Вы тем временем, на этой планете, должны быть защищены от самого худшего из того, что произойдет.

— Значит, стена нужна для сдерживания наихудшего, что может принести снег?

— Самое худшее, что принесет лед, — это гигантское скопление огромных пластов, которые

будут подниматься прямо у стены. Там, внизу, куда мы сейчас смотрим… — Джохор развернул меня от холода к теплому полюсу, — будет весьма плохо. Возможно, вы столкнетесь с трудными временами, переживая это. А эта стена будет сдерживать, как мы полагаем, давление льда. Достаточно долгое время.

— И вы не хотите, чтобы все знали, что мы должны покинуть Родную Планету и отправиться на Роанду?

— Достаточно, если будет знать один из вас.

Понадобилось какое-то время, чтобы понять это. Время и наблюдения. Ибо, хотя я помалкивал, постепенно другим Представителям стало известно, что всех нас отправят в космос, на другую прекрасную планету, где наша жизнь снова станет такой, какой она некогда была, — в прошлом, которое казалось сейчас таким далеким. Хотя прошло совсем немного времени, но из-за физических изменений в нашей жизни, изменений столь суровых и внезапных, мы с трудом могли поверить, что когда-то все было по-другому.

Джохор и другие канопианцы покинули нас, предварительно убедившись, что все бреши в нашей стене основательно и прочно заделаны. И что с холодной стороны стены не осталось ни

одного живого существа. Она казалась мертвой местностью, где теперь почти беспрестанно бушевали бураны, завывали и визжали ветра, а снег все громоздился и громоздился — теперь даже горы казались погребенными под ним. А затем, стоя на стене, чтобы рассмотреть даль, прикрывая слезящиеся глаза ладонями в рукавицах, мы увидели, что горы словно остекленели, а меж предгорий поползли языки льда. Некоторые из нас сделали небольшие повозки, способные скользить на полозьях, и мы отважились, хорошенько укутавшись, отправиться в эту холодную и жуткую страну, дабы узнать все, что было в наших силах. Это было словно путешествие в другую часть самих себя, такими медленными и тяжелыми были наши движения, таким мучительным было наше дыхание. Все, что мы смогли увидеть, — это лишь громоздящийся и громоздящийся до небес снег да подкрадывающиеся валы льда. А по завершении экспедиции мы стояли на стене, сбившись в кучу, и смотрели туда, где недавно были, и видели, как над белыми полями клубился снег, вихрями взмывая к небу, тяжелому холодному синему небу.

Нам предстояла огромная работа, всем нам, и в особенности — Представителям. И отнюдь не

материальные проблемы, сами по себе достаточно серьезные, требовали внимания в первую очередь. Теперь в умах укрепилась мысль, что нас ожидает новый дом в благодатной части галактики, где мы снова сможем гармонировать со средой, проворные, с ярко-коричневой кожей, здоровая раса под голубым небом — теперь нами овладела эта мечта, и тогдашняя действительность парализовала нас еще больше. А когда мы раскрыли глаза и увидели, как снега спрессовались в блестящие льдины с огромными трещинами, порой пробегавшими от горизонта к горизонту, — этот ужас стал нам казаться менее реальным, чем Роанда, куда мы направимся. Когда? Мы начинали тосковать, жаждать своего освобождения, и с этим я и другие должны были бороться. Ибо если бы мы позволили себе предаться мечтам и желаниям, то не осталось бы в живых никого, кто совершил бы это заключительное путешествие к прекрасной планете.

Одна из трудностей заключалась в том, что, когда наших людей перевезли с холода, все построенное для защиты их самих и животных избавило их от напоминаний о буранах. При взгляде со стены первое, что поражало нас, было то, насколько деревни и города сбились в кучу,

припали к земле да замкнулись, и еще казалось, что в домах нет ни окон, ни дверей, поскольку они располагались с другой стороны. Прежде наши города расходились вширь и казались выстроенными случайным образом, как и любые города, сооруженные с учетом преимуществ подходящих склонов или теплых ветров. Теперь же, когда мы смотрели вниз, город представлялся единым зданием, по которому из одной комнаты в другую можно было пройти через всю долину. Они казались такими уязвимыми, наши новые дома, такими хрупкими, когда мы стояли там наверху, ощущая, как нас бьют и рвут ветра, и зная ту мощь, что еще только грядет, — и все-таки стоило спуститься на землю, оказаться внутри города, и об угрозах легко забывалось. Здесь было безопасно, ведь ветры проносились наверху. Во все проемы было видно, что холмы все еще зелены, равно как и горы, почти до самых вершин, и воды сверкали и переливались, а в плотных серых облаках показывались клочки смутного голубого цвета. Внизу царили плодородие, тепло и красота… Повсюду, куда достигал взор, лежало наше сокровенное желание.

Что должны были делать мы, Представители? Заставлять этих людей, за которых мы были в

ответе, оглядываться назад и смотреть наверх? Позади них возвышался бастион стены, видевшейся из этих низких хитросплетений, в которых они жили, столь высокой, что она закрывала треть неба. Стена была как обрыв, отвесный черный сверкающий обрыв. Все еще черная на этой стороне, хотя если подойти к ней совсем близко и всмотреться в блеск, что некогда отражал голубое небо, в котором неспешно, лениво плыли белые облака лета, казавшегося теперь бесконечным, то становилось заметно, что гладкая чернота покрылась серым налетом, а блеск искажали мельчайшие царапины. Мороз. А ранним утром блестящая поверхность казалась полностью посеревшей и растрескавшейся.

Должны ли мы были заставлять каждого жителя забираться по ступеням на вершину стены и смотреть в сторону льдов, дабы люди почувствовали опасность бурь, зная, что неизменно лежит там, с другой стороны стены? Может, нам надо было сделать это ритуалом?

Довольно часто мы, числом пятьдесят или около того, поднимались туда для выявления новых изменений и опасностей на холодном полюсе — и обсуждали, как одержать верх над расслабленностью людей.

Возможно, нам мешала степень перемен. Мир снега — так мы думали о нем. Но теперь это был лед. Снег скопился, спрессовался, стал тверже и тяжелее. Звенящий мир: брошенный туда камень отзывался звоном. Когда мы стояли наверху, открыв лица ветру, нам казалось, что лед звенит и гудит из-за любой пикирующей птицы. А когда разражалась буря, ветер поднимал снежные массы в воздух, кружил их по суровому лязгающему небу и вновь швырял их, сгоняя и закручивая в новые наносы и сугробы. Вскоре они замерзали и образовывали новые массивы льда, которые продолжали надвигаться на нас из долин. Теперь, когда мы осматривались, нам приходилось вспоминать настоящую высоту преграждающей стены, глядя вниз с защищенной стороны, ибо снега покрыли стену более чем наполовину. Очень скоро, шутили мы, мы сможем делать шаг с ее верха и просто выходить на снег. Или на лед.

Мы решили не устраивать ритуалов по восхождению на стену и обзору снегов, не сочинять боевых песен, дабы заглушить те тихие, печальные и тоскливые, что теперь раздавались повсюду весь день и полночи. Мы и вправду не знали, как определить те последствия, к каким могли бы в действительности привести подоб-

ные насильственные мероприятия.

Когда-то мы знали точно, что будет результатом того или иного решения.

Характерной чертой нового управления явилось то, что Представители, занимавшиеся животными, стали самыми важными персонами. Выращивать урожай теперь можно было только у теплого полюса, да и то лишь новые холодоустойчивые сорта. Мы производили зерна вполне достаточно, чтобы прокормить людей, как это было и прежде.

Наш рацион изменился, и очень быстро. Стада огромных косматых животных, которые как будто благоденствовали на новых скудных травах и лишайниках, снабжали нас мясом, шкурами для одежды, обеспечивали нас сырами и всеми видами кислого молока, производством которого мы прежде даже и не утруждались. Теперь после отнятия от материнской груди ребенок получал мясо и сыры: не так давно его кормили бы кашей — основной нашей пищей являлись фрукты, зерновые и овощи. Мы гадали, как этот новый способ питания скажется на нас. У Канопуса в этом был опыт, и его эмиссары могли бы нам рассказать, но их с нами уже не было. А мы бы их спросили…

Хранители Животных и Производители Живот-

ных созвали всех нас и объявили, что мы зависим от одного этого нового вида скота. Мы узнали — разве нет? — как быстро и основательно могут изменяться виды… Исчезать… Появляться… Есть ли у нас гарантии, что какое-нибудь очередное климатическое изменение не уничтожит наших новых животных так же быстро, как были уничтожены прежние?

Мы все собрались в одном из недавно построенных местечек, с толстыми стенами вокруг да прочной крышей над головой. Наша жизнь стала очень тихой, тогда как раньше мы были открыты каждому ветерку, каждой перемене в солнечном свете.

Мы сидели в этой глубокой тишине и оценивали свое положение исходя из того, как изменились наши обязанности.

Количество Представителей, одним из которых порой являлся и я, не изменилось. Нас было пятьдесят. Иногда нам доставались и другие задачи. Теперь были один Хранитель Зерна и один Производитель Зерна. Производители Фруктов и Овощей стали Производителями Животных, как предложил я. Из всех наших Производителей и Хранителей Производители Пищи всегда были необходимы более остальных. Далее шли те, кто

строил и обслуживал здания. Их число не уменьшилось, а увеличилось. В это трудное время для обеспечения нашего населения кровом было задействовано целых пятнадцать Представителей из пятидесяти. Были Ремонтники Стены. Другие были заняты созданием инструментов и артефактов всех видов — как предложенных Канопусом, так и разработанных нами. Не так давно у нас был лишь один Представитель Законности. Теперь же их стало несколько, поскольку из-за напряженной и трудной жизни люди ссорились там, где раньше сохраняли бы жизнерадостность. До Великого Льда убийство было редкостью. Теперь же следовало ожидать убийств. Раньше мы не воровали друг у друга — сейчас это стало обычным явлением. Когда-то гражданское неповиновение было нам незнакомо. Теперь же повсюду рыскали шайки, в основном состоящие из молодежи, и забрасывали палками и камнями все, что одним своим видом вызывало у них недовольство — часто это было основание стены.

Но то заседание касалось лишь вопросов, связанных с питанием. Было необходимо найти, или создать, или изобрести новые источники пищи.

Чего мы не заметили или намеренно не стали использовать? Например, раньше «океан», пол-

ный тварей всех видов, из-за священности места мы рассматривали в качестве источника пищи крайне неохотно. Должен сказать, что Канопус всегда ограничивался молчанием, когда мы говорили о своем Священном Озере: именно так его эмиссары вели себя по отношению к тем нашими взглядам, от которых мы, по их ожиданиям, должны были избавиться. Среди нас было небольшое число тех, кто уже давно про себя думал, что эта священность и святость глупы, но мы делились мыслями лишь друг с другом. От канопианцев мы знали, что детей или молодежь спор ничему не научит. Только время и опыт.

Так что, когда в ответ на предложение рассмотреть озеро в качестве источника пищи некоторые из наших коллег начинали возмущаться, мы хранили молчание, как в подобных случаях поступали и агенты Канопуса.

Итак, оставалось лишь то, от чего мы отвернулись, чего мы так боялись: ледяная пустыня. Во время разведывательных обходов по стене мы увидели, что большие птицы, за которыми нам так нравилось наблюдать, перестали быть коричневыми и серыми и стали снежно-белыми. Теперь в тех враждебных потоках парили крылья мягкие, перистые и белые, прямо как сам снег.

Порой мы видели великое множество птиц, но их было трудно различить на фоне снежных просторов, к тому же воздух часто заполняли снегопады и бури, так что птицы и снег носились по небу вперемешку. Но они должны были чем-то питаться… Если мы и не замечали в тех белых пустынных пространствах каких-либо созданий, то это не значило, что их там не было.

Было решено отправить к холодному полюсу группу, в состав которой вошел и я, поскольку ранее бывал на других планетах и был знаком — хотя и не так близко, как с нашим, — с холодными ландшафтами. За исключением меня, Доэга, Производителя Воспоминаний и Хранителя Архивов, в подобных экспедициях бывали еще двое. Клин, некогда бывший нашим лучшим Производителем Фруктов, и Марл, в прошлом один из Хранителей Стад, которые ныне вымерли. Кстати, мы трое входили в число тех, кто считал, что порой наши компаньоны слишком склонны к простым эмоциям, как в случае с озером; наконец, мы уже долгое время были близкими друзьями. В состав группы также входили еще двое, представители молодежи — юноша и девушка, для которых наступила пора ученичества. Достижение возраста ученичества у нас являлось

поводом для празднеств и веселья. Это означало вступление во взрослый возраст. Но теперь, когда наши некогда разнообразные и всегда умножавшиеся ремесла и профессии сократились и когда многое из того, чему необходимо было научиться, стало трудным, суровым, а порой и жестоким, места для радости оставалось немного, да и возможностей было мало, и поэтому вся наша молодежь смотрела на это путешествие как на настоящее чудо: конкурс был просто невероятный. Признаться, мы из опасения выбирали лучших с большой неохотой, но все-таки сделали это. Юношу и девушку звали Нонни и Алси — это были смелые, хорошие ребята, совсем еще дети, и они были красивы. Или были бы красивыми: при существовавшем положении вещей они лишь пожелтели и вечно ежились, как все мы, внутри того, что казалось двигающимися, невероятно неуклюжими палатками.

Мы беспокоились, что не можем представить, насколько лют холод на самом деле. Пускай мы и совершали краткие путешествия в эту область, пускай мы и изучили как следует все, что знали, в том числе и на собственном опыте, о других планетах, о том, как там справлялись с суровым климатом.

Мы загрузили на санки запас сушеного мяса — которое мы все ненавидели, хотя и жили в последнее время впроголодь; запасные меховые одежды — на всякий случай — и нечто вроде палатки, сделанной из шкур. Мы все полагали, что нам хватит небольшого запаса продовольствия.

Мы выступили тихим утром: соскользнули с нашей стены, не обеспокоившись о ступеньках, ставших теперь из-за льда очень опасными, и рухнули в сугроб, из которого пришлось с трудом выбираться. Мы были вынуждены пробиваться через рыхлый снег, доходивший до пояса, весь день, поэтому к сумеркам так и не достигли цели — одного холма, в котором мы надеялись обнаружить пещеру. Наше солнце, казавшееся в эти дни довольно тусклым, буквально палило, отражаясь от снега, и жгло глаза. Все вокруг было белым, белым, белым, вскоре и небо наполнилось массами белого снега, и белизна была ужасом и мучением, ибо ничто в истории нашей расы, а потому и ничто в наших телах и умах не было к этому подготовлено. Тьма опустилась, когда мы находились в безбрежном поле, где снег был легким, мягким, наметенным в гребни и бугорки. Наша палатка не могла на нем удержаться и словно погружалась в воду. Мы сбились вместе, раскрыв

полы меховых шуб, чтобы передать тепло своих тел друг другу, и накрыв руками головы и шеи. В ту ночь не было снега или бури, поэтому мы пережили холод, в противном случае этого могло бы и не быть. Утром мы пробивались через мягкую удушающую поземку, а затем взобрались на ледник, оказавшийся таким скользким, что мы продвигались вперед не быстрее прежнего, хотя это было лучше, нежели глубокая рыхлость снега, в которой, как мы опасались, можно было совсем пропасть. Мы поскальзывались и спотыкались на льду, но не обращали внимания на синяки и боль и к вечеру достигли того холма, где, по нашим сведениям, должна была быть пещера. Но вход в нее оказался запечатан слоем льда. Нам удалось поставить палатку во впадине, где лежал снег. Палатка была сделана из десяти самых больших шкур, сшитых вместе мехом внутрь; мы навалили на лед еще шкур и пролежали там до утра. Мы не замерзли так, как предыдущей ночью, однако мех шкур внутри палатки пропитался влагой от наших тел и к утру представлял собой уже твердый лед — твердые сосульки льда, вполне способные порезать нас, когда мы выкарабкивались, лицом вниз, в новый день, бывший ясным и безоблачным.

Мы начали понимать, как плохо подготовились к путешествию, и что до меня, то лично я и вовсе хотел отказаться от него. Мы, все трое старших, собрались повернуть назад, но молодые стали нас умолять, и мы сдались. Они пристыдили нас — не столько своими храбрыми сияющими глазами, своей отвагой, сколько чем-то более неуловимым. Когда одно поколение смотрит, как растет молодежь, несет ответственность за их будущее и когда то, что им суждено унаследовать, достойно лишь сожаления, тогда стыд старших вырастает до такой степени, что от него уже не избавиться рассуждениями. Нет, в том не было нашей вины, что нашим детям приходилось учиться преодолевать невероятные трудности, приходилось отказываться от столь многого, что в свое время наследовали мы, старшие. Нашей вины в этом не было, но мы все равно *чувствовали* ее. Нас учили — нас, старшее поколение, — что когда виду, расе угрожает опасность, внутренние побуждения и потребности, встроенные в саму сущность нашей плоти, заявляют о себе способами, о которых мы и знать не знали бы, не возникни чрезвычайные условия и не выжми они из нас эти истины. Старшему, уходящему поколению нужно передать своим детям доброту, что-то прекрасное и высо-

кое — даже если только в потенциале. И если у вас нет такого наследства, если нечего отдать молодежи, тогда остается горечь и боль, из-за которой тяжело смотреть в юные глаза, юные лица.

Мы, трое Представителей, согласились идти дальше.

На третий день небо было ясным и голубым, и поэтому мы видели огромных белых птиц повсюду. Они парили над снегами и льдами, выискивая что-то внизу — какую же добычу? Поначалу мы ничего не видели, но затем, вперившись взглядом в сверкание, все-таки разглядели некоторые движения, как будто что-то ползало или бегало, — но это не было похоже на снежную дымку или волны, подгоняемые ветром. А затем мы увидели маленькие черные крапинки на белом — это был помет белых птиц, и мы стали его разглядывать, — и в нем оказались мех и кости, из чего мы смогли составить некоторое представление о маленьких снежных животных, прежде чем увидели одно из них воочию: мы стояли прямо на нем, оно было прямо у нас под ногами и переворачивалось так трогательно доверчиво, словно играло. Какой-то вид грызуна, совершенно белого, с кроткими голубыми глазами. Раз увидев этих зверьков, мы уже могли их ясно различать:

они бегали вокруг, хотя их было и не очень много — определенно, рассматривать их в качестве пищевых ресурсов было нельзя. Если только не заниматься их разведением в неволе. Но чем эти зверьки питались? Мы увидели, как один поедал помет больших птиц… Если птицы поедают их, а они поедают свои собственные останки в помете птиц, тогда это замкнутый цикл, и он едва ли возможен — но не виделось ничего, что могло бы служить грызунам пищей. Мы, впрочем, нашли немного, совсем немного снежных жуков или каких-то других насекомых, тоже белых, — но чем они-то питались, коли сами были пищей для белых зверьков?

Поскольку мы планировали продолжать идти в направлении полюса еще несколько дней, мы не стали собирать образцы, а спешно двинулись дальше. Впереди, как я знал, простиралась гряда холмов, которые прорезали глубокие пещеры, и мы надеялись, что они не будут полностью закрыты льдом. После полудня, когда небо озарилось металлическим темно-голубым сиянием, мы двинулись, поскальзываясь и шатаясь, вверх по реке — мы знали, что это река, только потому, что с удовольствием проводили здесь время, когда она еще текла меж зеленых плодородных берегов и

была полна лодок и пловцов. Теперь берега стали совершенно отвесными — ледяной пропастью. Чтобы добраться до месторасположения пещер, нам приходилось врезаться шагами в лед, и юноша Нонни упал и весьма серьезно повредил руку, хоть и притворялся, что ему не очень больно.

Несмотря на то, что начинало темнеть и мы жаждали найти пристанище, нам пришлось дать Нонни время прийти в себя. Мы уселись на впадину во льду, прислонившись спинами к обрыву, и стали наблюдать леденяще чарующую картину: отчетливое голубое небо, казавшееся нам таким мучительным, подчеркивало смертельную белизну пейзажа. Мы дышали неглубоко и редко, как только могли, ибо каждый вдох обжигал легкие. Наши руки и ноги откликались болью. Веки постоянно смыкались. Но мы знали, что испытываемое нами было ничто по сравнению с болью, из-за которой корчился Нонни, дыша тяжело и с большими промежутками и не видя вокруг себя ни яркой голубизны, ни белизны, ни сверкания. Бедняга едва не терял сознание, и Алси обняла его сзади, очень аккуратно из-за его сломанного локтя или плеча — под ворохом одежды мы не могли определить, что именно было сломано, — и она заключила его в свою живость, в свою силу.

Для нас троих, наблюдавших за молодыми, контраст между двумя юными лицами был весьма предостерегающим: ее лицо, несмотря на все переносимые испытания, было таким живым и одухотворенным, его же выражало сонливость и безразличие.

— Нонни, — начала девушка, и нам сразу же стало ясно, что она осторожно пытается его разбудить, — Нонни, проснись, поговори с нами, тебе нельзя спать, ты должен говорить…

И когда на лице Нонни появились раздражение и недовольство тем, что его потревожили, Алси настойчиво продолжила:

— Нет, нет, Нонни, я хочу, чтобы ты разговаривал. Ты ведь жил здесь поблизости, разве нет? Нет? Давай, поговори с нами!

Он покачал головой из стороны в сторону, а затем отвернулся, чтобы ее щека не давила на его щеку, но глаза у юноши открылись, и они светились сознанием: он понимал, что Алси делает для него.

— Где же ты жил?

Нонни лишь слабо поднял голову, тут же уронив ее обратно девушке на плечо, указав тем самым, что жил где-то там, впереди.

— А как ты жил? Чем ты занимался?

— Ты знаешь, чем!

— Продолжай!

И снова он ей не поддался, выразив невольным движением, что хочет лишь заснуть, но Алси не давала ему покоя, и юноша с трудом выдавил из себя:

— Еще до Великого Льда, это было там — там.

«Там» теперь представляло собой снежную равнину, волнистую, изрезанную расселинами, то и дело разрождавшуюся небольшими снежными облачками и вихрями.

— Так ты жил в городе вон там, и это был один из самых больших городов, и люди со всей планеты очень часто посещали его, ведь других таких городов не было? Это был новый тип города?

Юноша упрямо старался уклониться от ее вопросов, раздраженно качая головой, закрывая глаза, но желание жить снова взяло верх:

— Город построили здесь, потому что эти холмы полны железа. Здесь подо льдом шахты. Дорога идет отсюда туда — лучшая дорога на планете, по ней возили тяжелые грузы руды, из которой мы делали грузовики, перевозившие еще больше руды…

Его снова стало клонить в сон, и Алси подбодрила его:

— Пожалуйста, Нонни, продолжай.

— До того как был построен наш город и мы начали добывать руду, не было никакого центра по производству железа, хотя понемногу его делали повсюду. Это Канопус сказал нам, что искать железо нужно здесь, и что именно искать, и как его потом обрабатывать, и как смешивать с другими металлами. Нам было ясно, что эти металлы, которые мы производили, изменят весь наш образ жизни. Некоторым людям не нравилось происходившее. Некоторые снова ушли из нашего города и переехали жить в места, где жизнь не изменилась.

— А тебе, тебе нравилось это?

— Наверное, мне должно было нравиться, потому что я собирался стать рабочим по металлу, как и мои родители. Они оба знали все новые методы. Как раз перед Великим Льдом я путешествовал с ними, мы ездили в город недалеко от нашего океана, и тогда впервые я увидел что-то другое.

— И каким тебе это показалось? — спросила Алси, подначивая друга, ибо она и так все знала.

— Это показалось мне очаровательным, — ответил Нонни, вновь исполненный юношеской насмешливости по отношению к утраченному. И мы все засмеялись, и он засмеялся тоже, поскольку

ку теперь мог оглянуться в прошлое и увидеть самого себя. — Да, это было так *мило* и так *легко.* Для нас все было гораздо труднее. Каждый день совершалось открытие или изобретение, и мы учились производить металлы, о которых прежде и не помышляли. С нами как будто произошло нечто совершенно новое, и мы просто не могли не делать новые вещи и порождать новые идеи. После того путешествия я был рад вернуться домой. А через некоторое время вновь прибыли эмиссары Канопуса. Так как мы увидели, что в других частях нашей планеты люди живут по-другому, и могли сравнивать, мы спросили у канопианцев, как обстоят дела на других планетах. И вдруг наши умы словно наполнились новизной… Мы выросли… Стали не такими, как прежде… Мы узнали, сколь многочисленны и различны образы жизни, мы говорили о том, как вид появляется, растет, изменяется — и как он вымирает…

Тут Нонни запнулся и какое-то время молчал, его лицо омрачилось.

— Нонни, мы не вымрем, так говорит Канопус.

— Некоторые из нас нет, — ответил он, прямо заявляя о том, что чувствовал, что ему было известно, и это повергло нас в уныние. Мы уже

знали, или, по крайней мере, знали старшие, что Нонни не выживет. А юноша продолжал:

— Это была подлинная перемена, как я понимаю теперь. Жизнь на нашей планете должна была измениться не только потому, что мы производили новые металлы и все виды известных нам машин, но потому, что мы вообще впервые задумались об этом — а потом стали размышлять, сколь различны могут быть образы жизни — и затем, естественно, последовали наши раздумья о том, можем ли мы выбрать, как нам развиваться, выбрать путь, по которому идти… Кажется, по-настоящему впервые осознали появление идеи выбора… А затем пришел Великий Лед! — И Нонни громко рассмеялся гневным смехом, как могут смеяться лишь совсем юные. Гнев придал ему сил, и он, пошатываясь, поддерживаемый Алси, поднялся. — Что ж мы здесь расселись? Смотрите, темнеет. Нам нужно спешить в укрытие.

И он повел нас наверх, а мы пошли следом, наблюдая за ним, чтобы удержать его, если он вдруг поскользнется. Но силы не покидали Нонни, пока мы не достигли укрытия, хотя это оказалось последним действенным усилием, которое он был способен совершить сам.

Под мощным навесом голубого льда мы обна-

ружили полузамерзший земляной выступ, за которым была пещера с мягким земляным полом, — и так долго, уже казалось нам, не видели мы земли, что принялись с любовью ее гладить, словно надеясь вновь обрести уверенность. Мы разворошили ее, и распространился запах — мы знали, что это было гуано или помет, и поэтому посмотрели наверх, ожидая увидеть летучих мышей, но их не было, их убил холод. И все же в этой пещере, с не замерзшей землей под ногами, было нечто беспокоившее нас, из-за чего мы постоянно озирались.

Мы разостлали шкуры на полу и разожгли у входа большой костер, используя в качестве топлива гуано, и когда взметнулись языки пламени и начал клубиться дым, из глубины пещеры донеслось какое-то шевеление, словно мы побеспокоили каких-то существ и они стали отходить дальше и глубже. Мы установили дежурство на всю ночь, хотя в сравнительном тепле этого места, как все мы пришли к заключению, было легко заснуть. Каждый из нас стоял на посту, и все мы почувствовали, что и с той стороны тоже был выставлен дозор — было ощущение, что на нас смотрят. Утром мы почувствовали нехватку чего-то такого, чем нам не пришло в

голову воспользоваться. Нам нужен был факел. Но веток или чего-то другого, из чего можно было бы его сделать, не было. Дневной свет проникал в пещеру лишь чуть-чуть. Мы все впятером, плотной тесной группой, прошли в глубь пещеры, насколько осмелились, и мы знали, что недалеко от нас находились живые существа. Мы ощущали средоточие живого тепла. Множество маленьких тварей? Несколько крупных? Если крупных, то каких? Травоядные из нашего недавнего прошлого выжить не могли.

Не скапливались ли маленькие снежные грызуны в тех пещерах, что пока еще были свободны ото льда? Не гнездились ли в них большие птицы? Может, существовал какой-нибудь другой вид птиц или животных, о котором мы даже и не подозревали?

Мы оставили этих тварей с чувством поражения, даже муки — из-за того, конечно же, что отождествляли себя с ними. И как же нам было не отождествлять, если мы сами были сдавлены так, что наша жизнь стала еще меньше и уже? Мы сочувствовали этим бедным животным, выжившим в скованной льдом пещере, кто бы они ни были.

Мы продолжали путь в направлении полюса,

но теперь шли гораздо медленнее из-за больной руки Нонни. Он не мог тащить сани, и за него это делала Алси. А затем мы утратили чувство времени и расстояния, пробиваясь все дальше и дальше; наши глаза горели, открытая кожа лица нестерпимо болела, и даже наши кости протестовали — эти легкие изящные кости, созданные природой для размеренных и грациозных движений. На нас обрушились бури, нас заперли визжащие ветра, которые никак не кончались, пока мы не уверовали, что визг неистово перемещающегося воздуха как раз и был обычным, а тишину да мягкие волнения бризов и зефиров мы выдумали сами, дабы уберечь свой рассудок от нескончаемого ужаса. А затем, когда бури все-таки утихли и мы обнаружили, что вновь наваленный снег препятствует нашему упорному продвижению вперед, а над головой мчались снежные массы, наше пространство в мире, казалось, сжалось до одной лишь нашей группы из пяти дрожащих тел, мы как будто оказались в белой комнате, стены которой давили на нас, когда мы двигались, и которая двигалась вместе с нами. Когда же небо поднялось и расчистилось и мы увидели, что находимся в высокой долине, окруженной высоченными ледяными пиками,

жизнь заключалась уже лишь в нас одних, в наших малочисленных крохотных личностях, жавшихся друг к другу. Снова нам не удалось поставить палатку на твердом льду. Ночь опустилась на нас, а мы не спали — из-за волшебства, величия и ужаса этого места. Черное небо над головой, с несколькими сияющими звездами. Ни ветра, ни облаков, лишь тишина. Мы скорчились на снегу, дрожа, и вглядывались сначала в одну яркую звезду, потом в другую, спрашивая, не это ли солнце Роанды, плодородной планеты, или, может, вон то; и мы говорили о расе, которую Канопус взращивал до высокого уровня эволюции, и гадали, как эти люди, которые в нашем воображении вобрали все смелое, сильное и хорошее, встретят нас и дадут нам понять, что мы дома… И мы говорили о том, как две наших расы, эти воспитанники Канопуса и мы, тоже бывшие детьми Канопуса, их созданием, будут работать вместе, жить вместе и станут еще сильнее и лучше. А мы, трое старших, знали о трепещущем ожидании и стремлении двух юных и испытывали к ним всю ту сердечную покровительственную любовь, которую уходящее поколение должно испытывать к своим подопечным.

Как тихо было той долгой ночью и как пре-

красно! Тишина была такой глубокой, что мы слышали слабый шепот кристаллических звезд. А перед рассветом, когда мороз стал таким крепким, что наши толстые меховые шубы словно рассыпались, оставив нас совершенно голыми, один из окружавших нас высоких сверкающих пиков под ударом ледяного порыва ветра издал громкий треск, и этот звук отразился другим пиком, и в какой-то миг уже все горы, казалось, кричали, стонали, протестовали против холода. А затем снова воцарилась тишина, и звезды мерцали и манили. Мы не верили, что переживем эту ночь, и с первым лучом света, из-за которого все вдруг засверкало и заболели наши глаза, мы обнаружили, что Нонни стал вялым и сонным. Мы раздвинули мех, закрывавший его лицо, и все поняли: его плоть была тусклой, желтой и облегала кости, а в его темных глазах не читалось никакой реакции. Мы все еще были далеко от полюса. Я вспомнил, что поблизости находилась пещера, и мы понесли юношу к ней. Он был таким легким, что лежал на моих руках словно ребенок. В пещеру вел небольшой вход, дыра в снегу; гуано внутри не оказалось. Пол представлял собой твердую сероватую смесь почвы и инея, и мы не ощущали присутствия животных,

наблюдающих за нами из глубины пещеры. Мы обнаружили кипы соломы, оставшейся, как мы предположили, после отшельника или затворника, и с ее помощью развели небольшой костер. Но тепла оказалось недостаточно, чтобы спасти Нонни, и он умер. И мы даже не смогли его похоронить, потому что пол был слишком твердым. Мы оставили его там, в его толстых шкурах, и вчетвером — раздумывая, кто же из нас будет следующим, — продолжили свое путешествие, которое уже считали бесполезным и, возможно, даже преступным, пока не увидели впереди высокий черный, закрученный спиралью предмет. Это была колонна, которую Канопус попросил нас установить на месте полюса. Но она не была такой высокой, как мы помнили, ибо лед уже поднялся выше ее половины. Колонны специально поставили на полюсах, потому как они были необходимы космическим кораблям Канопуса в качестве ориентиров, когда те заходили на посадку.

Нам казалось, что солнце здесь, на вершине нашей планеты, было жарче, чем где бы то ни было на протяжении всего нашего путешествия. Я уже упоминал, что наклон оси нашей планеты крайне незначителен, и в старые добрые времена

он ни на что заметно не влиял; но теперь мы раздумывали, может, коли уж мы оказались в такой климатической крайности, этот крохотный наклон внесет достаточную перемену, чтобы назвать ее летом, когда другой полюс, в свою очередь, продвинется ближе к солнцу. Что ж, оказалось, что так оно и было: появился весьма короткий сезон, когда незначительное повышение температуры позволяло лучше созревать зерновым и мы могли баловать себя некоторыми овощами. Но он не мог быть тем летом, что изменило бы наше положение.

Здесь, на вершине планеты, где окрест нас ничего не было, лишь отшлифованный лед, по которому мы едва могли передвигаться, нам пришлось признать, что мы не обнаружили ничего, что могло бы послужить запасами продовольствия, за исключением, быть может, белых снежных зверьков. Которые не обитали здесь, в этих широтах — здесь вообще ничто не обитало. И едва теплящаяся в нас жизнь, и наши медленные и спутанные холодом мысли казались здесь неуместными, едва ли не оскорблением природе, которая уготовила лишь безмолвие льда да визг бурь.

На обратном пути девушка заболела, и нам

пришлось везти ее на санях — там появилось место, так как мы съели почти все наше сушеное мясо. Когда мы добрались до долины, где на снегу меж теней огромных птиц, махавших белыми крыльями у нас над головой, были заметны небольшие передвижения снежных зверьков, мы поймали нескольких. Это оказалось нетрудно, потому что грызуны не были достаточно опытными, чтобы бояться нас. Они были доверчивыми животными и прижались к девушке, лежавшей в полубессознательном состоянии на своем ложе, их безмятежность и тепло оживили ее, и Алси в первый раз заплакала, горюя о смерти своего друга Нонни.

Нет нужды говорить что-либо еще об обратном путешествии, за исключением того, что оно было ужасающим и что каждый волочащийся и мучительный шаг свидетельствовал, насколько мы были глупы, бросив вызов опасностям, к которым не были подготовлены в должной мере. Когда же мы наконец достигли места, где ожидали встретить нашу черную стену, мы не увидели ее. Стояло ослепляюще сверкающее утро, после ночи снега, падавшего так плотно, что мы опасались, как бы в нем не задохнуться. Спотыкаясь, с полузакрытыми от снежного блеска глазами, мы

едва не шагнули прямо с обрыва — нашей стены; мы взошли на нее на уровне ее верха, ибо снег и лед уже все заполнили. Стоя там и смотря вниз, мы увидели, что снег сдувался с холодной стороны в сугробы вдоль подножия стены. Не очень глубокие сугробы, но вполне достаточные, чтобы покрыть землю на приличном расстоянии.

Мы благополучно, соблюдая все меры предосторожности, спустились вниз по опасно скользким ступеням. Алси вскоре выздоровела, она отдала маленьких зверьков, что были с ней в санях, Производителям Животных, и наконец, после множества экспериментов, выяснилось, что они могут питаться лишайником и карликовым кустарником тундры. Но что же служило животным пищей, когда они жили в той пустыне замерзшей воды? В конце концов пришли к заключению, что в пещерах, должно быть, существуют запасы соломы или листьев, а может, даже и произрастает какой-то вид растительности. Мы разводили этих зверьков для пищи; однако нашей главной проблемой было то, что мы не могли выращивать что-либо в той мере, чтобы накормить животных. Гигантские стада, которые как будто оказались способны замечательно обходиться даже такой редкой и сухой растительностью, теперь беспо-

койно скитались в поисках пищи от долин до холмов, забираясь даже в горы. Если холод прокрадется через нашу преграждающую стену, то нам следует ожидать, что все травы и кустарники выродятся — а вместе с ними вымрут и стада.

Именно эти обстоятельства и заставили наших более дальновидных Представителей согласиться вновь подумать об озере. Нашем «океане». Из этого сотворили настоящий ритуал. Все население близлежащих долин и делегации со всех краев нашей планеты встали вдоль его берегов. Было хмурое серое утро, и толпы были молчаливы и унылы. Оттуда, где мы стояли — с невысоких холмов над водой, — мы могли разглядеть у далеких берегов серовато-коричневые массы людей. Мы, Представители, расположились на самом близком к стене берегу, и нам открывалось, высоко над горами по ту сторону воды, светлое серовато-голубое небо, казавшееся слишком тихим, чтобы ему радоваться. Те, кто живет в состоянии постоянной угрозы, знают о тишине нечто такое, чего совсем не понимают живущие в беззаботные времена. Было заметно, что люди вокруг меня оглядываются по сторонам, чтобы посмотреть в лица других; все молчали либо говорили очень тихо, и мне пришло на ум, что

причина подобного сосредоточенного внимания заключалась в том, что они — все мы — *слушали.* Все, что нам приходилось делать, было для нас трудным и ненавистным, мы не испытывали удобства даже в мельчайших, самых обычных и часто повторяемых делах нашей каждодневной жизни, начиная от надевания тяжелых шуб и заканчивая готовкой жирного мяса, ставшего нашей основной пищей; не испытывали удобства в нашем сне, которому постоянно угрожал вкрадывавшийся откуда-то холод, это тяжкое бремя холода словно пропитало нас, как вода пропитывает глину; не испытывали удобства, даже протягивая руку или улыбаясь, ибо наши тела и лица постоянно казались слишком легкими и хрупкими для того, что им приходилось делать и выражать. Казалось, у нас не осталось ничего естественного, а следовательно, и веселого или просто приятного.

Мы были чужды самим себе настолько же, насколько и окружающей среде. И поэтому группы, да и толпы людей легко и часто погружались в молчание. Как будто мы заставляли служить это чувство, слух, за неимением других чувств, которые были нам так нужны. Мы *слушали* — глаза каждого из нас постоянно выражали ожидание

услышать или принять какую-то новость, или послание, или информацию.

Среди нас, Представителей, были такие, кто говорил, что мы должны сделать из этого события, обращения нашего озера в источник пищи, церемонию с песнями и хоралами, сопоставляющую унылость нашего настоящего с прошлым. Таким недавним прошлым… Лишь совсем маленькие дети не помнили, как наше озеро лежало, такое голубое и яркое, среди зелени и желтизны листвы. Какая надобность в формальном ритуале памяти? Простор наших сверкающих вод был голубым и был зеленым, и была белая рябь на нем. Люди ныряли с коричневых скал и плавали вдоль невероятно красиво окрашенных берегов… Теми, кто постоянно живет среди тускло-коричневого, серого и земляного цветов оттенки нагретой и плодородной суши начинают восприниматься как необычные, почти невозможные. Стояли ли мы здесь — мы, обитатели нашей пораженной болезнью планеты, — стояли ли здесь и смотрели ли на полные жизни коричневые тела, ныряющие и плавающие в отражающих небо водах? Танцевали ли мы, пели ли на этих берегах теплыми ночами, когда эти спокойные темные воды казались наполненными звездами? *Было* ли это?

Что ж, мы знали, что было, и мы рассказывали обо всем этом нашим маленьким детям… И их глаза, озадаченно смотревшие в наши лица, говорили, что они верили во все это, как верили в легенды, которые поведал нам Канопус, чтобы мы передали их потомкам. Ибо его эмиссары рассказали нам, Представителям, целую тысячу сказок, которые подготовили бы умы наших людей к пониманию нашей роли как планеты среди планет и того, как Канопус лелеет, вскармливает и бережет нас. Я сам помню, как спокойной теплой ночью меня, еще совсем маленького, вместе с другими детьми Представители того времени привели на склон холма и показали одну сверкающую звезду, висевшую низко над горизонтом, объяснив, что она была Канопусом, нашей звездой-родительницей и кормилицей. Я помню, как пытался охватить все это собственным умом, как пытался согласовать шелест травы вокруг себя, привычное тепло родительских рук и приятный запах их тел с мыслью: та сверкающая штука — там, наверху, — та сияющая точка есть мир, как наш, как наша планета, и я должен помнить, когда смотрю на эту звезду, что этот мир и есть мой Творец.

Я помню, как частично я это понял, частично

принял. И как легенды и сказки запали мне в душу и наполнили ее, и создали в ней место, куда я мог входить по желанию, чтобы восстановиться и преисполниться широтой и целостностью. Но это далось нелегко, эта медленная перемена, неизменно контролируемая (как я узнал, хотя и не без труда) Канопусом.

В тот холодный день, отражавшийся в серой воде, нашей задачей было услышать друг от друга и понять, что эта священность, эта нетронутая чудесность места, где мы плавали и резвились, но которое никогда, никогда не оскверняли — теперь должна возделываться, как некогда мы возделывали почти всю планету. Как мы пока еще возделывали небольшую область у полюса, которая была подвержена воздействию — незначительному, увы, незначительному — плодоносного света нашего солнца. Да, мы использовали наше скоротечное, почти незаметное «лето». Мы будем ловить в нашем «океане» его обитателей, но осмотрительно, ибо нас огромное количество, а их не так уж и много, чтобы мы могли брать столько, сколько нам хотелось.

Представители, являвшиеся Хранителями Озера, его Стражи, именуемые Ривалин, выступили из молчаливой толпы и взошли на лодку, укра-

шенную и оживленную настолько, насколько мы только могли ухитриться при наших теперешних, столь ограниченных ресурсах растительности — из лищайника сделали кое-какие гирлянды да добавили стеблей злаков. Отплыв под парусами недалеко от наших холодных берегов, Представители выстроились на палубе, выставив перед собой новые орудия, чтобы все видели. Это были сети, всяческие виды лесок с крючками, остроги и гарпуны. Последние наличествовали потому, что, согласно легендам, в глубине нашего озера водились чудовища. Порой люди тонули, хотя и нечасто, и возникали слухи, что их утаскивали в глубины озера эти самые огромные твари, которых никто никогда не видел. И которые никогда не существовали — по крайней мере, мы так их ни разу и не увидели.

Что-то произошло, когда Представители подняли высоко над головой новые орудия труда и показали их во все стороны, чтобы мы видели. Стон или плач исторгся из толпы, и этот звук, вырвавшийся из нас, напугал всех. Порой вспыхивали иступленные причитания. Из-за чего? Из-за необходимости, заставившей нас осквернить то, что прежде было для нас священным? Этот неистовый стенающий плач поднимался

не только на нашем берегу. Люди выходили на лодках с орудиями ловли водных обитателей со всех краев озера, и с каждого берега исходила эта поминальная песнь.

А когда эти непродолжительные стенания прекратились, вновь воцарилась тишина, глубокая внимающая тишина.

Кто-то ждал, когда из воды вытащат первых тварей. Мы, конечно же, видели их достаточно часто во время купаний. Именно наблюдение за ними — длинными, узкими проворными водными тварями, походившими на птиц без крыльев, хотя у некоторых как будто все-таки были небольшие и слабые крылья — впервые и подтолкнуло нас задуматься, как животные приобретают форму своей среды, и существуют ли видимые карты или схемы того, где они живут. Птицы, как отшельники-индивидуалисты нашего нового времени, так и былые оживленные стаи, вычерчивали для нас воздушные потоки. А эти водные твари, как одиночки, всегда казавшиеся огромными, так и те, что передвигались, скитались и спасались бегством в стаях и косяках, явно отражали течения жидкости, видимые для нас не более чем перемещения воздуха. Течение, кружение, вращение и закручивание в спираль

воздуха и воды становились для нас очевидными, когда мы наблюдали за их обитателями.

Однако большинство отправилось по домам. Мы, Представители, стояли на возвышенности и смотрели на этих несчастных людей, наших подопечных, быстро, едва ли не украдкой расходившихся по своим жилищам, словно опасаясь, что за ними наблюдают и даже осуждают. За что их осуждать? Во времена великих бедствий, увы, истинно, что население испытывает чувство вины. Вины за что? Ах, как можно столь рационально, столь хладнокровно вопрошать, столкнувшись с внезапными, немыслимыми и неожиданными природными бедствиями! Наши жители чувствовали, что они словно подвергаются наказанию… Хотя они не сделали ничего дурного… Хотя это *было* именно тем, что они чувствовали. Нам достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть это — как они двигались, стояли, искали глаза друг друга, чтобы найти в них поддержку или утешение. Когда они стояли, на них словно был взвален невидимый груз, из-за которого они сутулились и так ожесточенно и страдальчески держали головы. Они сбивались в кучу и бродили, оглядываясь по сторонам, словно где-то таились враги. Хотя у нас никогда не было

врагов. До недавнего времени мы даже не знали обычных преступлений или преступников. Эти люди, эти удачливые счастливые люди, совсем недавно бывшие жизнерадостными, подвижными, импульсивными и доверявшие друг другу, земле, на которой они жили, теперь не могли сделать ни жеста, ни движения, которые бы не выражали не только страх, но и зло — и зло это коренилось глубоко в них.

Мы обсуждали, как это исцелить: если мы обратимся к ним, поговорим, объясним, докажем, *убедим*... Почему вы, наши отважные и доблестные жители, встретившие так достойно и с таким мужеством эти трудные времена, столь ужасно изменившие все, что мы знали, — *почему же вы выглядите так, словно приговорены искупать вину за преступление? Не было никакого преступления! Вы ни в чем не виновны! Пожалуйста, не делайте хуже себе и друг другу, ибо все и так уже плохо. Пожалуйста, задумайтесь о том, как ваше новое состояние или положение — словно вы в любой момент ожидаете, что судья вынесет вам приговор, — должно подрывать вас, пожирать всех нас, наши глубинные сущности...*

Таков голос разума. И именно так мы задумывали воззвать к нему. Но не воззвали. Разум не

может достигнуть источников неразумности, исцелить, излечить их. Нет, нашими людьми двигало нечто более глубокое по основанию и источнику, нежели то, сквозь что мы, Представители, могли пробиться. И, конечно же, нами тоже, ибо мы происходили из них, были среди них. Следовательно, мы неизбежно тоже были поражены — если и не на том уровне, какой мы без труда видели в наших людях, тогда, наверное, где-то глубже и даже, быть может, еще сильнее? Откуда нам было знать? Как могли мы безошибочно выбрать, что делать и говорить, когда нам приходилось сомневаться в происходившем в наших собственных душах, приходилось быть осторожными в наших суждениях?

Что могли мы измыслить и сказать такого достаточно веского, чтобы перевесить то, с чем каждому ежедневно и еженощно приходилось жить: знание того, что из-за неведомых нам событий определенные перемещения звезд (космических сил, как выразился Канопус, хотя эти слова ни в коей мере не уменьшили нашего замешательства) ведут нашу Родную Планету, прекрасную Планету Восемь, к увяданию и смерти. Ничто, что мы могли бы сделать, или придумать, или сказать, не могло изменить эту фундаментальную

истину, и нам всем приходилось жить с этим, как уж только могли, смотря в лицо опасностям, которых мы действительно не понимали. Но в будущем, через какое-то отдаленное время — а может, и очень скоро, ибо мы и вправду не знали, чего ожидать, — придет Канопус и увезет всех нас на Роанду плодоносную, Роанду умеренную и гостеприимную.

Но вот все ушли, и мы, Представители, отправились на место наших собраний, где просидели весь остаток дня. Сидели большей частью молча. Некогда мы собирались на открытом воздухе, на склоне холма, или же ночью под звездами. Теперь же мы жались друг к другу, не снимая шуб, под низкой крышей. Было очень холодно. К тому времени мы уже не пользовались кострами или очагами: любое растительное вещество или же помет, лишайник и даже землю, которой можно было немного топить, теперь приходилось воспринимать как возможную пищу для животных. Мы обратили внимание, что огромные стада в своих бешеных поисках достаточного количества пищи разрывали ногами эту землю, бывшую наполовину растительным веществом, и поедали ее, хотя и не любили ее и часто выплевывали. Но затем клали в рот опять.

Когда пришли и расселись Представители, которые проплыли берега озера, показывая людям новые способы, как добывать пропитание, мы обсудили, как лучше использовать этот новый источник продовольствия.

Здесь я просто скажу, что, хотя пища в озере хоть как-то да облегчила нашу тяжкую участь, ее не было много, не было достаточно. Пускай наше население и нельзя было назвать большим — по сравнению с населением некоторых планет, которое, как мы знали, исчислялось миллионами, — оно все-таки не было достаточно малочисленным, чтобы кормиться с небольшого озера долгое время. И хотя мы и дорожили этой пищей, она не приносила нам удовольствия. Как мы изголодались и истосковались по овощам, фруктам и злакам нашей прежней диеты… Теперь вся наша пища была животной, если только мы не соскабливали со скал лишайник. От нее мы грубели, толстели, приобретая сальный и тяжеловесный вид, так что трудно было вспомнить, какими мы когда-то были. Казалось, даже наша кожа тускнела, становясь все более серой, серой, серой — того цвета, что мы видели повсюду. Серые небеса, серая или коричневатая земля, сероватая зелень, покрывавшая скалы,

серовато-коричневые стада и огромные птицы над головами, серые и коричневые… хотя все чаще и чаще, когда они проносились над стеной, ставшей теперь серой из-за не ослаблявшего своей хватки мороза, они были белыми… Легкими, покрытыми перьями белыми птицами, прилетавшими из белой пустыни за преграждающей стеной.

Когда мы поднимали взор на стену, то видели, как лед задавливает ее верхушку. С нее нависал грязно-серо-белый нарост: это была кромка ледника. Если стена уступит, тогда что будет стоять между нами и льдом со снегом той бесконечной зимы наверху, чьи пронзительные ветры и бури не давали нам уснуть по ночам, пока мы жались друг к другу под ворохом толстых шкур? Но стена не уступит. Она не могла нас подвести… Ее возвели по приказу Канопуса. Поэтому она выстоит…

Но где же сами канопианцы?

Если нас должны были спасти, когда это требовалось нашим людям, тогда это время уже прошло.

Я уже говорил, что нас захлестнули новые преступления и жестокости. Жертв было немного, однако каждое преступление казалось нам чудовищным и ужасным, просто потому, что прежде

нам это было незнакомо.

В таком бедственном деле, когда оно поражает людей столь по-разному и коварно, нелегко распределять горе или упреки справедливо и правильно. То, что отдельные жертвы убийства или случайного грабежа тревожили и гневили нас больше, нежели когда из-за внезапной метели погибало двадцать человек, было *несправедливо.* Было ли это потому, что мы чувствовали свою ответственность за насилие, даже если до этого нового времени природной безжалостности к нам насилия или актов террора не существовало? При подобном взгляде нельзя было никого винить за эти убийства, которые, несомненно, являлись частью всеобщего ухудшения. Некогда любая смерть была всеобщим горем, и горем неподдельным. Мы все знали друг друга. Встретить незнакомое лицо было невозможно, даже если при этом мы и не знали имени человека.

Но некоторое время назад начались изменения: когда на холоде умер Нонни, мы не очень страдали. Нам было самим слишком холодно, и опасность, нависшая над нами, была слишком велика. Алси горевала о нем, но не так, как это было бы раньше. Нет, у смерти появилось новое свойство, и свойство это вызывало у нас стыд.

Смерть уже не могла взволновать нас, как раньше… В этом заключалась истина. Произошло ли это потому, что холод остужал наши сердца, замедлял нашу кровь, что из-за него мы стали меньше любить друг друга, стали менее чуткими друг к другу? Умер ребенок, а мы все в глубине души считали: оно и к лучшему; каких ужасов он избежит, этот несчастный! Ему повезло больше, нежели нам, выжившим! Причем это думали буквально мы все: одним ртом меньше. И еще: было бы лучше, если бы дети не рождались вовсе в это ужасное время. А когда вид начинает думать подобным образом о своем самом дорогом, своем будущем, способности производить на свет и передавать по наследству — тогда он и в самом деле поражен болезнью. Если мы не являемся каналом в будущее, и если этому будущему не суждено быть лучше нас, лучше настоящего, то кто же мы тогда?

Мы знали, кем некогда были, и когда пришла новость о бунтах в другой долине, голодных бунтах, а может, даже возникавших без видимой причины, мы воздели очи к нашим угрюмым небесам и подумали: «Канопус, когда же ты придешь, когда выполнишь свое обещание?»

Затем прилетели его эмиссары — но не так, как

мы ожидали. Через теплый полюс вошла и приземлилась в нашей тундре огромная флотилия космолетов; и целая армия канопианцев выгрузила из них запасы. Поначалу мы даже не знали, что это такое, ибо бурно радовались продуктам питания, которых не видели столь долго, — всем видам сушеных и консервированных фруктов и овощей. Но главным образом это были горы контейнеров с каким-то пластичным веществом, и канопианцы объяснили, что оно необходимо для изоляции наших жилищ.

Не принесли ли они какой-нибудь другой весточки? От Джохора, например? Нам так и не укажут срок, когда нас наконец-то спасут?

Нет, ничего такого они не знают — флотилия космолетов получила приказ доставить эти материалы, что и было сделано. Затем космолеты вновь поднялись в небо и исчезли.

Материал для покрытия домов был нам внове. Это оказалось очень плотное, мягкое, легко обрабатываемое вещество, и нам необходимо было делать из него оболочки, крышки и обшивки для наших жилищ. Этот материал был настолько легок, что обрезать его, подгонять друг к другу куски и поднимать эту обшивку на здания без труда могли всего лишь несколько человек. Мы

обсуждали, стоит ли прорезать в этих панцирях окна, но в итоге решили не делать этого. Что касается вентиляции, то нам приходилось довольствоваться открыванием-закрыванием дверей. Внутри домов мы теперь теснились в темноте, кое-как рассеивавшейся электричеством, которое мы дополняли, когда это удавалось, светильниками из лишайника, пропитанного жиром. Теперь наш мир был темен, темен и темнел еще больше, ибо небеса над головой становились все более плотными и серыми. Мы просыпались в душной тьме, немного нагретой прижимающимися друг к другу телами, и зажигали свои тусклые светильники или же позволяли себе слабенькую струйку электричества; и мы выходили в мир, выказывавший признаки яркости и света лишь далеко к полюсу, где порой немного брезжила голубизна. Из-за серой стены налетали ветры со снегом. Теперь снежные шквалы играли и клубились у подножия и нашей стороны стены, а бури стали обычным делом. И каждый порыв визжащего ветра словно вгонял нас в землю еще глубже. Не все наши здания были покрыты изолирующим материалом. В некоторых наших городах имелись постройки в целых пять или даже шесть функциональных

уровней. (Я, конечно же, понимаю, что это не впечатлит тех из вас, кто живет на планетах, где здания могут достигать высоты утесов и гор. Я сам видел такие дома.) И они были слишком высоки для нас, чтобы покрыть и их. Некоторые безрассудные жители не хотели покидать их, однако с каждой бурей уровень за уровнем пустели, так что, быть может, там осталось лишь незначительное количество человек на первом да на следующем уровнях. А те, кто был изгнан из своих высоких незащищенных жилищ и с рабочих мест, скапливались ниже, и затем люди были вынуждены сбиваться в семьи, группы или кланы, у которых, возможно, пространства было немного больше, нежели у остальных. Усугубляя таким образом перенаселенность… напряженность… и без того непрекращающееся ухудшение настроения и нрава каждого жителя. Быстрое ухудшение: обшивка плотными оболочками мест нашего проживания, казалось, привела всех нас к внезапному повышению взрывоопасности. Подтверждения этому приходили со всех сторон.

— На другой стороне планеты произошли столкновения.

— Столкновения? Кто-нибудь погиб?

— Много народу. Очень много.

— Много народу погибло? Почему же столько раздоров вспыхнуло одновременно?

— Дело в том, что столкнулись группы людей.

— Столкнулись друг с другом? Группы?

— Да, группы, жители одного селения сражались с другим.

— Но из-за чего?

— Они обвиняли друг друга в недостойном поведении.

— Я не понимаю!

Да, именно так мы и восприняли новость о первых междоусобных сражениях. И подобное непонимание сохранялось.

— Они сражаются между вон теми горами.

— Сражаются? Кто? Из-за чего? На нас кто-то напал? С небес спустились враги?

— Нет же, нет, сражаются между собой жители земли, расположенной вон за теми предгорьями, помнишь, куда наша молодежь раньше ездила искать жен и мужей.

— Как же они могут сражаться? За что?

А потом разговоры стали такими:

— В соседней долине воюют.

— Воюют? Это как?

— Ну, селения разделились на две группировки и постоянно вооружаются друг против друга.

— Кто-нибудь погиб?

И так продолжалось долгое время. Продолжалось даже тогда, когда нечто подобное произошло и у нас. Семьи, мужественно остававшиеся на первом уровне одного из незащищенных зданий, обнаружили, что снег завалил проемы; они покинули свое жилище и пошли по соседним — но им везде отказывали. Не пускали никуда. Наконец они взялись за оружие всех видов, камни, палки и даже прихватили орудия для ловли тварей из озера и силой заняли жилище. Они оставались в одной части дома, враждебным кланом, занявшим оборону и выставившим дозорных, которые должны были сообщать о первых признаках ответных мер со стороны неприятеля. Они спали, готовили еду и устраивали свою жизнь как воинское подразделение; и они жили в большом помещении, отделенном от их врагов единственной стеной. Те, кому они угрожали, в конце концов явились с оружием, дабы выгнать их, и это им в полной мере удалось. Вновь бездомный клан ходил от одного места к другому, пытаясь силой ворваться куда-нибудь. Стычки и сражения продолжались повсюду, в различных жилищах, при сильном снегопаде, из-за которого люди с трудом различали, кто друг, а кто враг. Ко-

гда же они пробились в одно здание, захватчики и оборонявшиеся сражались в сумраке и темноте внутренних помещений. Послали нас, Представителей. Обеспечивающий Жильем и Защитой вошел к ним, потребовал, чтобы клан разбился на одиночек и пары, и расселил всех среди множества семейств. Прежде нам не приходилось разделять кланы, не говоря уже о семьях. Мы все восприняли это как наше очередное ухудшение и даже опасность. Ибо клан был основополагающей единицей общества, и мы ощущали его как нашу сильную сторону, основу народа. Однако альтернативы не было. Из-за нехватки материалов мы не могли строить новые жилища. Мы могли лишь улучшать те, что у нас были.

Теперь опасность для нас стало представлять не только рассредоточение некоторых кланов. По существу, вспыхнул бунт — клан подчинился Представителю, но лишь на этот раз. Они могли отказаться очень легко. У нас не было средств навязывать свою волю другим. Мы никогда не думали о себе в отрыве от них. Мы не предполагали, что придется заставлять отдельных личностей или группы делать то, чему они ожесточенно сопротивлялись. Вся наша сила заключалась в том, что мы были избраны ими, в осуществлении

того, что, как мы все знали, было общей волей, консенсусом. Мы не могли функционировать, если не было согласия. Если бы эта группа сказала нашему Представителю: «Нет, мы отказываемся вам подчиняться!» — тогда бы мы ничего не смогли поделать. Это был бы конец нашего образа жизни как народа.

Мы все это знали. И страх перед всеобщей анархией в конечном счете и был тем, что заставило вторгавшийся клан согласиться на роспуск и спокойно, хотя и не охотно, разойтись по новым семействам.

Однако это было время, на которое мы вскоре оглядывались как на невинное, когда мы просто не понимали своего счастья.

Но более всего нас беспокоило не ухудшение настроений наших людей, но угроза льда, трещавшего и скрежещущего, когда нараставшие массы наползали на нас, так нагромождаясь над стеной, что казалось, будто мы смотрим на движущуюся гору. Мы, Представители, отправились к месту возле стены, где в наросте льда наверху была брешь, и осторожно забрались по крошащимся и очень опасным ступенькам. Поверхность стены стала хрупкой и ежеминутно крошилась на ледяные осколки, которые мы без

труда могли растереть пальцами. Но это было только на поверхности — так мы надеялись. Один из нас все-таки поскользнулся и упал, почти с самого верха, — но теперь сугробы были глубокими и падение не причинило ему вреда. Ступени вели к маленькому пространству между языками льда, напиравшими на нас с обеих сторон, где мы и собрались, крепко держась друг за друга, ибо устоять было трудно. Вокруг нас завывал ожесточенный ветер, кружа белые хлопья, так что сгущался воздух и мы не могли разглядеть горизонт. Наш городок внизу, что некогда сиял белизной среди зеленых парков и аллей, теперь почти нельзя было различить, потому что серые защитные покрытия сливались с тундрой, и мы смотрели вниз на сосредоточение холмиков и бугорков, казавшихся порождением земли. Резкими и темными отметинами выделялись лишь некоторые из более высоких зданий, но их верхние части были потрепаны бурями, и потому вид у них был разбитый. На улицах наблюдалось лишь незначительное движение; лишь немногие выходили из своих жилищ, да и то только в случае необходимости. Они превратились в безразличное, сбившееся в кучу население, угрюмое от бездействия, угрюмо терпеливое. Они ждали.

Они ждали того момента, когда нас всех унесут наверх, прочь от нашей суровой замерзшей земли, к раю Роанды. Сжавшись в низких, темных, провонявших зданиях, где из-за холода замедлялось и затруднялось любое усилие, они ждали. И, стоя на той высоте, на этом ледяном утесе над ними, мы вглядывались в тусклое небо и искали Канопус, чудесные космические корабли нашего Спасителя и Создателя Канопуса.

Где же Канопус? Почему его эмиссары так медлили, заставляли нас ждать, страдать, удивляться и сомневаться в нашем спасении? Лишаться веры в самих себя и в них? В чем была причина этого? Да, они предупредили нас, заставили нас подготовиться, поручили построить нашу заградительную стену, научили, как изменить наши обычаи, — порой казалось, что перемена произошла в самих наших сущностях, в наших внутренних «я», — и еще они доставили это удивительное вещество, которым можно было одевать города, словно те были людьми. Но нас *не спасали, не освобождали;* и повсюду наши люди вырождались и становились ворами, а порой и убийцами, и всему этому не было видно конца.

Мы говорили о том, что было у нас в мыслях тем холодным утром, на ледяном утесе. Мы, Пред-

ставители… Нас было пятьдесят, и мы тщательно продумали каждое мероприятие, очертили круг обязанностей и работ, что выполняли (что нам теперь оставалось выполнять). И когда мы стояли там, смотря друг другу в лица или на то, что было видно за длинным ворсом меха, то видели разнообразные цели и назначения старого времени там, где теперь были — снова и снова — Представитель Обеспечения Жильем и Защитой, Представитель Провизии, Представитель Сохранения Тепла. Существовали лишь разновидности этих основных нужд.

Ибо мы продолжали хранить, сознательным усилием, наши знания о собственных возможностях, о нашем потенциале для будущего, который так щедро проявлялся в прошлом. Мы *не были* просто дрожащими животными, озабоченными лишь тем, как бы обеспечить себя теплом и пищей, — не были лишь тем, что видели, сбившись там в кучку, стараясь удержаться на ногах, поскольку ветер давил на нас, тащил нас. Нет, мы все еще оставались теми, кем были прежде и кем будем снова… Но где же Канопус, который вернет нас самим себе?

Мы снова совершили путешествие вокруг планеты, на этот раз вдоль подножия стены или же

склона — не по ней самой, ибо это больше не представлялось возможным, поскольку она была покрыта напирающим льдом. Мы пробивались через снежные сугробы или шли по промерзшей земле и постоянно смотрели вправо, ибо двигались так, чтобы солнце было перед нами, насколько это только было возможно, — наше скудное, ослабленное, бледное солнце, которое теперь, казалось, скорее высасывало из нас тепло, нежели согревало и насыщало нас. Наши взоры неотрывно были прикованы к поверхности стены, ведь мы невероятно боялись, что она рухнет совсем. Но до настоящего времени, хотя каждый ее клочок и растрескался, крошился, больших трещин в ней не появилось. Она держалась. Этот обход занял у нас в два раза больше времени, чем когда мы путешествовали с представителями Канопуса; мы мерзли, и цепенели, и постоянно испытывали потребность во сне. Сон… сон… Наш разум находил в нем прибежище, и потребность затеряться в забвении была пыткой. Мы, бывало, садились, тесно прижавшись друг к другу, как только мерк свет, в каком-нибудь месте, где сугробы были не столь глубоки, прислонившись спиной к великой преграде, и ели наше безвкусное и постылое сушеное мясо или же корни

полузамороженного тростника: и мы дремали там, словно являясь одним организмом, а не многими — как если бы наши отдельные исключительные личности становились еще одним бременем, которое приходилось отбрасывать, как излишнее движение. И все же мы *пребывали* в движении… Единственные среди наших людей, мы испытывали своего рода неугомонность, которая и заставила нас предпринять это путешествие. Пока они все это долгое время ожидания дремали и пребывали в мечтах, сгрудившись в своих темных и промерзших домах, мы все еще испытывали потребность спешить с места на место, словно могли где-то еще натолкнуться на нечто, способное нам помочь.

Именно в этом путешествии, пока мы в темноте жались друг к другу, один из нас — Марл, некогда бывший искусным селекционером теперь уже вымерших животных, — не уселся тотчас с остальными, а нагреб руками сугроб еще выше, воздвигнув таким образом ветролом, хоть отчасти избавивший нас от неудобств. Марл всегда был сильным и крепким мужчиной и даже теперь мог двигаться с некоторой легкостью и целеустремленностью: его движения были точны, и наблюдать за ними было истинным удовольстви-

ем. И мы вправду наблюдали — и увидели на его лице, исхудалом, как и у всех остальных, сосредоточенность и напряжение, снова поднявшие всех нас на ноги, придавшие нам решительности и самодисциплины. И в эту ночь, и в последующие, мы все сооружали стены и делали их все выше, так что укрывались глубоко в круге наваленного снега, наклонявшегося внутрь; и вскоре мы уже проводили ночи внутри куполов утрамбованного снега. В спокойные ночи они сохраняли устойчивость, но вот во время бурь их сдувало ветром. И таким образом мы научились плотно утрамбовывать снег в массивные блоки и класть их один на другой; нам пришло в голову, что мы нашли способ постройки какого-никакого жилища для наших бездомных, которые больше не могли оставаться в высотных зданиях, но которых отнюдь не горели желанием принять в переполненных семействах. Массон, руководитель Представителей Обеспечения Жильем и Защитой, был занят в течение всего путешествия, в основном вместе с Марлом, утрамбовывая снег и так и этак, используя глыбы льда в качестве укрепляющего элемента, экспериментируя с проемами и располагая их то выше, то ниже — в конце концов остановившись на небольшом тун-

неле, сквозь который мы и заползали в снежный дом, и тепло наших тел больше не растрачивалось впустую.

Так что путешествие завершилось не одним лишь тем, что мы убедились: наша стена по-прежнему стоит твердо и в целости сохранилась. И мы вспомнили, что усилие одного рода часто приносит в качестве награды совершенно не предполагавшиеся достижения и знания. Мы вернулись в свои города и селения, полные решимости поднять наших бездеятельных людей и вдохновить их на усилия, на любые усилия.

Я, Марл, Клин, некогда выводивший множество восхитительных сортов фруктов, и девушка по имени Алси обходили все жилища, беседовали со всеми семействами, увещевая, объясняя, умоляя.

Сколько раз я входил в темные здания, где тусклое сияние света озаряло то, что казалось стадом скота, спящим на полу. Но это были наши люди, плотно закутавшиеся в шкуры; из-под меховых капюшонов неохотно показывались лица, и за мной наблюдали, пока я расхаживал, пытаясь довести до них, что энергичные движения все еще действительно возможны. Глаза их двигались медленно, блеск в них гас каждую минуту, ибо сон смежал им веки, а затем я видел, что взгляд

их снова оживал… Это было подобно тому, как в сумерках подойти к склону холма, где разлеглось на отдыхе стадо наших огромных животных: завидев нас поблизости, они поднимали головы и таращились, раздумывая, представляем ли мы на этот раз опасность, и решали, что нет; блеск множества глаз мерк, когда они отворачивали свои огромные головы с массивными рогами. Ах, как душно и неприятно было теперь в наших жилищах! Как мне не нравилось пробираться в них и стоять там, стараясь сохранять живой и бодрый вид, в то время как зловонная атмосфера, общее оцепенение и холод притупляли мой разум и заставляли меня желать лишь улечься с ними всеми да проспать всю свою жизнь — пока не прибудет Канопус.

«Канопус уже здесь?» — слышал я повсюду из темного зловония, и этот озабоченный нищенский плач звенел в моих ушах все то время, пока я проводил свою работу.

Нам удалось подвигнуть достаточно населения, молодого и сильного, на постройку сараев и вольеров в тех местах, где Алси разводила снежных зверьков. Они занимали большое пространство около нашего города; метод, разработанный Алси, распространился и во всех наших городах.

Поскольку эти животные привыкли к холоду, им не требовалась особо надежная защита. Мы подготовили для них нечто вроде пещер — которые, как мы полагали, были их естественным местом размножения, — соорудив те из камней и устлав лишайником и мхом. Их территория была ограничена стенами из полузамерзшей земли тундры. Теперь эти зверьки являлись таким же важным источником пищи, как и стада огромных животных. Их питание оказалось проблемой, которую мы и не надеялись разрешить. Грызунам приходилось есть некую овощную смесь, и их потребность в ней несколько ограничивала нашу. Они приучились довольствоваться диетой из лишайника, мха и новых видов низкорослых жестких растений, которые теперь были главенствующей растительностью планеты. Однако этим же питались и мы сами, готовя разнообразнейшие похлебки и тушеные блюда, когда уже было невмоготу выносить однообразие мяса. А эти зверьки снабжали нас именно мясом — снова мясом; но, по крайней мере, поскольку они как будто потребляли столь незначительное количество пищи, прибыль от них была много больше, чем если бы мы сами питались лишайником.

Разведение снежных зверьков было практич-

ным и удобным. Но они не нравились нам. У нас не возникло к ним привязанности.

В неволе эти животные стали медлительными и неповоротливыми, из-за неизбежной грязи в загонах и пещерах белизна их шкурок потускнела. Я часто стоял там рядом с Алси, наблюдая за ними. Она, самая способная и изобретательная смотрительница за животными, не любила свою работу. На ее милом открытом личике довольно часто появлялась печаль, а выражение ее глаз, сиявших из-под глубокого мехового капюшона, было извиняющимся. За что? Я знал, и очень хорошо! Когда у Алси, Клина, Марла или у меня появлялось на лице определенное выражение неодобрения, оправдания, оно объяснялось просто: нам приходилось делать то, что нам не нравилось!

Неволя изменила и нрав этих зверьков: они стали непривлекательными и неотзывчивыми, а с их чумазых мордочек на нас таращились блестящие невыразительные голубые глаза. Но Алси у себя дома, где она жила с братьями и сестрой, держала двух этих маленьких тварей в качестве домашних животных. И там они играли, резвились и были очень нежными. Они встречали приближение любого из нас доволь-

ным урчанием и любили прижиматься к нам и забираться в складки шубы или шарфа, где лежали, поблескивая милыми голубыми глазками, такими озорными и дружелюбными. Таков был подлинный нрав этих зверьков, которых мы превратили в отталкивающего вида узников.

Порой, когда падал мягкий снежок, я выходил в одиночестве наружу и стоял совершенно неподвижно, и вскоре мне становились заметны легкие быстрые движения, которые не были падающими или гонимыми ветром хлопьями снега. Если я вглядывался достаточно долго, мои глаза настраивались на то, что я и надеялся увидеть: эти неуловимые призрачные движения обретали форму, и я различал снежных зверьков, диких, которые словно поднимались вверх, устраивались, оглядывали белую пелену, а затем плыли сквозь снег. Да, я видел это — как они плавали, отрывались от поверхности, порой даже на большие расстояния, как будто были птицами, парящими в воздушных потоках. И приземлялись они даже мягче птиц; а затем белая пушистая форма снова появлялась в поле зрения, довольно высоко над поверхностью, на уровне моего взгляда. В какой-то миг голубые внимательные дружелюбные глазки смотрели прямо на меня, а затем

совершался быстрый разворот, как у какой-нибудь водной твари, и белый невесомый зверек уплывал среди несущихся пушистых снежинок. Я встречал там и Алси, занятую тем же самым: самовосстановлением посредством этого очарования, этой легкой забавы в снегу — через воспоминание о настоящем нраве бедных животных, которого мы их лишили. Но все-таки, чем они питались? Помета огромных птиц, которые ими же и кормились, было мало, да и обычно он почти сразу же засыпался новым снегопадом. Лишайник на скалах да растения нам самим приходилось выкапывать из-под снега. Мы, Алси и я, начинали верить, что эти зверьки питались снегом — а если и не верили, то просто тешили себя этой мыслью, оставляя в душе крохотный участок, где фантазия и невозможное могли доставлять радость; и это было местом нашего отдохновения, живительным средством, существовавшим, как и мы сами, среди мучительной необходимости, сжимавшей и сдавливавшей нас.

А затем к нам все-таки прилетел посланец Канопуса. Наконец прибыл его эмиссар. Это был Джохор, но я поначалу увидел лишь высокую фигуру в одеждах из толстой ткани, стоявшую неподалеку от загонов и пещер снежных зверь-

ков и смотревшую на наш город, смотревшую настороженно и с интересом, из-за чего я сразу же сказал себе: «Это чужестранец». Ибо теперь оживление любого рода производило на меня впечатление чего-то необычного. Затем он повернул голову ко мне, и я увидел его коричневое здоровое лицо, уже сереющее из-за снежинок на коже и бровях, и вскричал:

— Джохор!

А он ответил:

— Доэг!

К тому времени я поселился в снежном куполе, или снежной хижине, облегчая тем самым стесненность пространства для других, — но в этом месте я только ночевал. Джохор сказал:

— Ох, холодно! Куда бы нам зайти?

Рядом с загонами располагался длинный низкий сарай, который Алси использовала для хранения пищи и подстилок для зверьков, и я указал:

— Туда…

И я уже чувствовал, что мои большие надежды на скорое освобождение вот-вот рухнут, ибо в его поведении не было ничего, что сигнализировало бы мне: да, теперь все наконец кончилось, ваше испытание завершилось, скоро вы будете сво-

бодны. Даже наоборот, в его поведении сквозили осуждение и сдержанность, а выражение его глаз было мне знакомо. Ибо я достаточно часто видел его у нас, у Представителей. Джохор испытывал тот гнет терпеливости, что рождается из лицезрения страданий других, из осознания, что никакие слова не умерят этих страданий, из осознания, что ты сам являешься частью того, что они переживают как боль. Ведь, вне всякого сомнения, мы, Представители, принимавшие решения, все без исключения неприятные и с тягостными результатами, воспринимались людьми как бремя. Ведь это мы говорили: «Нет, пока еще нет». Это мы говорили: «Ждите». Или: «Не спите целыми днями в своих темных комнатах, а поднимайтесь, работайте, занимайтесь чем-нибудь — несите бремя своего сознания, своего знания, не забывайтесь во сне». Заявляли: «Это так, и таковым и должно быть — по крайней мере, на время». И это не имело ничего общего с нашими личностями, ибо кого бы люди ни выбрали своими Представителями, им непременно пришлось бы говорить: «Нет». И: «Это все, что есть». И: «Вы должны обходиться без этого».

Итак, то, что я прочитал тогда в глазах Джохора, было тем, что я видел каждый день, и что другие,

как я знал, видели в моих глазах. Я уже знал, что не было никакого флота спасательных кораблей, ожидающих где-то вне поля моего зрения в тундре. Я знал, что Джохор прибыл к нам один.

Я спросил — заранее зная, что он ответит:

— А где же твой космолет?

Он мягко произнес:

— Я отослал его. Я побуду с вами — совсем недолго.

Я отвернулся от Джохора, зная, что за длинным мехом не разглядеть моего лица, ибо я не мог скрыть своих чувств.

Мы зашли в сарай. Это была длинная низкая постройка с отверстиями вдоль одной стены, выходившими к вольерам животных — через них подавалась пища. Там были навалены мешки с упругими жесткими растениями из тундры, и от них исходил резкий и приятный запах. Я сел на один, наслаждаясь их свежестью, и Джохор сел рядом. Он достал из карманов какие-то маленькие красные плоды, которых я никогда прежде не видел, и протянул мне на ладони. Мои руки дернулись к ним, словно я хотел выхватить их у канопианца, и, видя, что вытворяют мои руки, я не мог не содрогнуться и отвернулся. Этот жест, который я не смог сдержать, говорил достаточно

ясно, что мы теперь собой представляли, до чего дошли, и, конечно же, Джохор понял его смысл.

Затем он снял капюшон, и я ясно разглядел эмиссара Канопуса. Он не изменился. Я порадовался, глядя на здоровый блеск его кожи, живость его глаз. Я знал, что мои глаза упивались его видом — я понимал, что означают эти слова: упиваться видом. Я откинул голову и расстегнул свою тяжелую шубу, и Джохору открылось то, что можно было понять по моему лицу.

Он кивнул и вздохнул.

Я сказал:

— Если с тобой нет флотилии космолетов, то, стало быть, и на поставки свежих продуктов рассчитывать не приходится. Так?

Он едва заметно кивнул.

— И нам не суждено уехать отсюда немедленно?

Я понял, что весь подался вперед, дабы изучить его лицо, и Джохор продолжал неподвижно сидеть, позволяя мне смотреть ему в лицо и глаза.

— Нам не суждено уехать, — сказал я наконец, слыша, как мои слова прозвучали в холодной тишине, и каждое слово как будто застревало в воздухе, будто бы сам воздух отвергал их — содержание моих слов отвергалось воздухом, и я

недоумевал: если мои слова истинны, то *что* тогда их отвергает?

— Что произошло? — спросил я наконец, и в моем голосе звучали бешенство и гнев.

Джохор начал было говорить, но осекся. Тогда сказал я:

— Где-то есть рай, мы видим его, когда поднимаем глаза от этой омерзительной планеты, мы видим, как он сверкает в наших холодных небесах, или, скорее, мы видим его родительницу, плодоносную звезду. Роанда будет нашим домом. Роанда — изобильная планета, где все процветает и где специально выращивается раса людей, как особо многообещающие растения, выращивается Канопусом, чтобы однажды они приняли нас, несчастных жителей Планеты Восемь, которые также были созданы, выращены и вскормлены Канопусом. Так что они и мы можем оказаться ровней и превратить Роанду в планету, которой будет восторгаться сам Канопус. На этой прекрасной планете даже теперь нас ждут теплые океаны, солнечные поля, прекрасные леса, полные плодов, и холмы, злаки на которых отливают золотом, белизной и зеленью, когда по ним рябью пробегает ветерок. На Роанде есть склады, ломящиеся от мягких легких одежд, в которые мы

облачимся, и свежей легкой пищи, которую мы будем есть, а всё-всё-всё, на что бы мы ни взглянули, будет цветным, мы вновь будем жить среди красок жизни, мы увидим бесконечные оттенки зеленого, желтого, красного — вновь наши глаза будут наслаждаться алым, золотым и пурпурным, а когда мы посмотрим в высь небес, наши глаза наполнятся голубым, голубым, голубым, и поэтому, когда мы будем смотреть друг другу в глаза, мы больше не будем видеть безумного блеска белизны, где цвета обескровлены белым — белый, белый, везде белый, или серый, или коричневый… Да, канопианец? Ты это пришел сказать нам?

— Нет, — произнес он наконец.

— Что тогда? Что с Роандой? Вы запланировали, что наслаждаться Роандой должен будет другой вид, другое ваше генетическое творение?

— Канопус держит свое слово, — ответил Джохор, и голос его прозвучал довольно странно.

— Когда может? — уточнил я.

— Когда может.

— Что же тогда?

— Роанду… постигла та же участь, что и Планету Восемь, хотя и не так ужасающе и внезапно.

— Роанда больше не прекрасна и плодоносна?

— Роанда… теперь стала Шикастой, разбитой и пораженной болезнью.

И вот теперь до меня стало доходить, что Джохор говорил; вся моя сущность впитывала это, и я усмирял свое возмущение, свое исступленное неприятие того, что он мне говорил. Я сидел там в своей груде шкур и слушал свой собственный поминальный плач — тот же самый, каким исходили люди, когда мы стояли вокруг озера, нашего священного места, зная, что нам предстоит его уничтожить.

Я не мог успокоить этот плач, никак не мог, как бы этого ни хотел, ибо я думал о тысячах приземистых и темных жилищ по всему нашему маленькому миру, в которых наши люди жались, подобно животным, мечтая о солнечных деньках и теплых ветрах — мечтая о Роанде и своем обновлении.

Джохор не отодвинулся, не пожалел ни меня, ни себя. Он продолжал сидеть, совсем близко, не пряча своего лица от моего взгляда.

Когда же я наконец успокоился, он сказал:

— И Канопус *все-таки* держит свое слово.

— Ты же сам признал — когда может.

— Если не можем так, то делаем по-другому.

Я очень хорошо понимал, что последствия этого

слишком сложны для меня, чтобы разобраться в них сразу. В словах Джохора звучали те нотки, что обычно звучат, когда вам в первый раз преподносятся истины, с которыми вам придется свыкнуться, — хотите вы этого или нет! О да, я слушал о каких-то предлагаемых мне новых возможностях развития. К которым мне придется устремиться… Дорасти до них… В которые мне придется *поверить.*

Но горестное возмущение все еще бурлило во мне и не отпускало меня, и я сказал канопианцу:

— На другой стороне нашей планеты, в Манделе, в большом городе, где мы могли бы оказаться, если бы прорыли отсюда туннель через центр шара, идет гражданская война. Люди убивают друг друга. По всему городу лежат целые горы мертвецов, потому что их невозможно похоронить в промерзшей земле, и мы не можем сжечь их, потому что нет топлива. Живые — если их можно назвать живыми — занимаются тем, что должны делать, окруженные грудами мертвецов. И это люди, у которых до недавнего времени не было даже слова для обозначения убийства. Или войны.

Канопианец вздохнул — он мучился. Но он не отвернул лица.

— Как ты собираешься сказать им это, Джохор?

Он ничего не ответил.

— Ты собираешься сказать им — ты, от имени Канопуса?.. Нет, это не ваш метод. Ты немного пробудешь с нами, и вскоре мы, Представители, поймем, что каждый уже знает об этом, но мы не будем знать, как это произошло.

И теперь уже я молчал долгое время, ибо мой разум, казалось, хотел чему-то открыться — я ощущал воздействие некоей истины, пробивавшейся из его глубин.

— Джохор, что я должен понять?

— Ты когда-нибудь задумывался, что означает быть Представителем?

— Ты воображаешь, что я не проводил ночей без сна, обдумывая это, размышляя над этим?! Конечно же, задумывался. Всю свою жизнь! Поступаю ли я так, как должен поступать, чтобы добиться лучшего, принимаю ли я достойные и правильные решения, работаю ли верно и справедливо с другими Представителями, выражаю ли я их, как они…

И снова мой разум замер, соскользнув туда, где меня ожидала истина.

— …как они выражают меня? — закончил я наконец.

— Как ты стал Представителем? Когда это произошло? Можешь вспомнить?

— Как это ни смешно, но совсем недавно я задавал себе этот же вопрос. Сказать точно, когда это произошло, не очень-то просто. Полагаю, можно сказать, что это случилось, когда некоторые из нас, молодых, были назначены на работы на новом участке стены. Нам надо было рыть фундамент. Нас было около двадцати. Ну я и стал представителем от нашей группы.

— Да, но как именно?

— Это-то и сложно сказать. На мой взгляд, это была, наверное, цепь случайностей. Представителем мог стать любой из них, и в разное время все они и были таковыми.

— Любой из них мог представлять остальных?

— Да, я так думаю.

— И в то время ты был Массоном?

— Нет, еще нет — Массон нас обучал. Тогда Массонов было очень много, потому что надо было строить стену. Мы, молодые, были учениками Массона. Клин и Марл тоже были там, но тогда они еще не стали Клином и Марлом. Мы пока еще носили семейные имена. Мы не вошли во взрослый мир, и нас не заставляли выбирать себе взрослые имена. В следующий раз я представлял

других во время жатвы, но мы делали это по очереди, так же как и распределяли задания. Так это и продолжалось. Я выполнял самую разную работу, как и все остальные. И все из нас в разное время были Представителями.

— И все-таки некоторые из этих молодых выросли и стали Представителями, а другие нет?

— Да. Я думал об этом. Это странно, потому что, на мой взгляд, те, кто стали Представителями, не такие уж и особенные. А что до меня, то тогда я не видел себя в будущем Представителем. Думаю, по-настоящему я стал Представителем, когда мое имя стало Доэг. Канопус взял Клина, Марла и меня на Планету Десять. Формально нас не обучали, но водили повсюду, чтобы показать, как живет их народ и насколько там все по-другому. Роандийцев обучали жители Планеты Десять, как ты говоришь — до того, как там все нарушилось. Но когда мы были на Планете Десять, мы не знали, что между нами и тем народом была какая-то особая связь или могла бы быть. Конечно, мы видели, что они развиты гораздо больше, нежели мы. А когда мы втроем вернулись с Планеты Десять, мы все были Доэгом, потому что потом путешествовали по всей нашей планете и рассказывали, что видели. И все восхищались — ведь прежде людей

не возили с нашей планеты в другие места. Я все думаю, почему вы выбрали нас, Джохор? Я помню, что удивлялся еще тогда! Мы ведь ничем не отличались от остальных. Быть может, мы трое выполняли больше разнообразных работ, нежели остальные, но не настолько уж и больше. Нет, когда мы обсуждали это — конечно же, мы не могли не обсуждать этого между собой, — мы решили, что нас выбрали из-за нашей заурядности. И мы придерживались этой мысли, когда вернулись назад и на девять дней стали настоящей сенсацией со своими поразительными историями… Тогда я в первый раз и обратил внимание, что всегда, когда кто-то рассказывает о чем-то сделанном, увиденном или пережитом, это становится историей, сказкой… Во всяком случае, люди слушали наши рассказы как какую-то сказку или легенду. Надо лишь начать: «Нас привезли в тот или иной город, было такое-то время суток, и нас встречали те-то и те-то», и сразу же в этом появляется нечто чудесное, и все хотят знать, что произойдет дальше! И это верно, даже если рассказываешь о чем-то совершенно обычном — что уж говорить о новой планете! С тех пор я оставался Доэгом почти все время, а вот Клин и Марл — нет. Хотя, когда возникала необходимость, я был Клином,

Марлом, Педугом и Массоном. Но, полагаю, моя сущность — Доэг.

— А когда ты был одним из пяти Представляющих Представителей?

— Ах, это была благоприятная возможность, случай — людей выбирают почти наугад.

— Любой из Представителей может представлять остальных?

— Да! И ты знаешь это! Ты знаешь все, что я тебе рассказываю — да, я понимаю, что должен сам рассказать, что знаю, — но мы сидим здесь, разговариваем, ты и я, мы вдвоем, и ты подгоняешь, вынуждаешь меня говорить то, что я считаю важным…

— Надеюсь, ты не предполагаешь, что я не воспринимаю тебя серьезно, когда ты задаешь вопросы? Я должен игнорировать их, потому что ты уже знаешь ответы? Представитель Доэг, кого ты представляешь? И кто ты такой?

При этих словах Джохор наклонился вперед, глядя мне прямо в глаза, но то, что затем вскипело во мне, положило конец возможности, что избавила бы меня от столь многих вопросов и боли. Однако мы не можем ускорить определенные процессы внутри себя: они сами должны проложить себе путь, и довольно часто это происходит

без нашей активной и сознательной помощи.

Я думал о наших несчастных людях; меня охватила боль за их судьбу — бессмысленная боль, бессмысленная…

Джохор сказал сухо:

— Это богатая и щедрая вселенная.

— Ты имеешь в виду, она в состоянии позволить себе смерть нескольких миллионов людей?

— Смерть — это что-то новое для тебя? Ты что, только сейчас начал размышлять о смерти — что она означает?

— Уж не говоришь ли ты, что смерть стариков, уже проживших свою жизнь, познавших ее, не отличается от той, которой мы сейчас вынуждены противостоять?

— А разве дети, молодежь, даже младенцы никогда не умирали у вас? Вам приходилось мириться только со смертью старых?

— Не можешь же ты сказать, что не имеет значения, что население целой планеты должно умереть — весь вид?

— Я не утверждал, что это не имеет значения. Как и того, что мы, Канопус, не испытываем боли за происходящее. Как и того, Доэг, что мы ничего не делали, чтобы предотвратить это. Как и того, что мы…

Однако я в негодовании оборвал его:

— Вы не можете увезти с нашей планеты миллионы ее обреченных жителей? У вас нет где-нибудь лишней планетки, которую вы могли бы передать нам для использования, развития, возделывания? Вы считаете нас бесполезными?

— Это действительно вопросы, Доэг? Что ж, я так к ним и отнесусь — но спроси себя: разве Канопус, по твоему опыту, занимается краснобайством? Нет, мы не можем увезти с Планеты Восемь все население. У нас и вправду нет средств…

Но снова негодование так захлестнуло меня, что я не мог позволить Джохору продолжать и воскликнул:

— У вас нет средств! Или ты говоришь, что вы увезете *некоторых* из нас, предоставив оставшихся своей судьбе? Если ты именно это имеешь в виду, тогда я, например, откажусь! Я не собираюсь спасаться за счет других! И я знаю, что каждый из Представителей скажет то же самое! Мы провели свою жизнь, работая на наших людей, выражая наших людей, *являясь* нашими людьми, не для того, чтобы оставить их в самом конце… — Здесь мой разум затмился, и надолго. Я знал, что прошло много времени, прежде чем я пришел в себя и обнаружил, что все еще сижу

там, в холодном сарае, напротив терпеливо ожидающего Джохора.

Его глаза напряженно изучали мои глаза, мое лицо.

Из-за произошедшего внутри меня в течение этого долгого неясного промежутка я уже совершенно не был способен призывать его к ответу так же дико и яростно, как до этого. Однако через какое-то время я услышал себя, слабо произносящего:

— Странно, что ты тогда сказал, что у Канопуса нет средств для чего бы то ни было… Мы всегда считали вас всемогущими, способными делать все, что только пожелаете. Мы и представить себе не могли, что вы ограничены. Чем ограничены, Джохор? — и сам же ответил: — Вы сами — создания, и создания чего-то, какого-то Высшего Существа, с которым вы находитесь в тех же отношениях, что и мы с вами? Да, должно быть, так. Но я никогда не думал так прежде… И вы не можете перейти свои границы, как мы не можем свои…

И тут в душе моей снова вспыхнул гнев:

— Но на Канопус не обрушилась внезапная космическая катастрофа! Вскармливает ли ваша звезда более одного иждивенца? *Ваша* планета

не оказалась внезапно, буквально на следующий день, погубленной и проклятой неким перемещением звезд, таких далеких, что вы, быть может, даже и не подозревали об их существовании — даже не назвали их?

Он ответил мягко, даже шутливо:

— Нет, пока еще нет. Но ты знаешь, что это могло произойти и с нами, как это случилось с вами.

— И с Роандой.

— И с Роандой. — И тут, при упоминании этого названия, канопианец вдруг испустил вздох такой глубокий и такой мучительный, что я не мог не вскричать:

— Ах, Джохор, хотел бы я знать, оплакиваешь ли ты, испытываешь ли ты муки за нас, Планету Восемь, так же, как ты переживаешь — насколько я вижу — за Роанду! Ты ведь о ней так тревожишься? Она намного прекраснее, чем наша — чем была наша планета? Разговаривая с другими, может, со своей ровней, на Канопусе, вздыхаешь ли так же, как вздохнул при слове «Роанда», когда кто-нибудь произносит «Планета Восемь»?

Он ответил:

— Да, в данный момент я угнетен судьбой Роанды. Я только что оттуда. Тяжело видеть, как нечто процветающее, здоровое и многообещающее, ка-

ковой была Роанда, утрачивает свою движущую силу, свое направление.

— Тяжелее, чем видеть, как с нами происходит то же самое?

— Ты забываешь, что будущее твоей планеты должно было быть связано с Роандой! Мы послали на Роанду особенно искусных и замечательных колонистов, с Планеты Десять, синтезироваться с видом, который мы доводили до определенного уровня, чтобы вы, жители этой планеты, могли синтезироваться с ними и стать чем-то совершенно выдающимся — мы на это надеялись…

— Вы планировали перевезти наше население на Роанду. У вас есть средства и цели для *этого* — но нас сейчас не спасти.

— Некуда вас перевозить. Наша экономика очень точно отлажена. Наша империя не беспорядочна, не зиждется на решениях своекорыстных правителей или на стихийном развитии нашей технологии. Нет, мы уже очень давно переросли это варварство. Наш рост, наше существование, *то, что мы есть*, — это единица, единство, целое, в том смысле, что, насколько нам известно, не существует более нигде в нашей галактике.

— Так мы — жертвы вашего совершенства!

— Мы никогда не использовали слово «совер-

шенство» по отношению к себе — даже в мыслях… Это слово относится лишь к чему-то несравненно более высшему.

— Но все же мы жертвы.

Я произнес это отрывисто, холодно, тоном, не допускающим дальнейшего обсуждения. Я чувствовал, что уже не смогу продолжать диалог. Я устал, устал так, как уже стало слишком привычным, — когда движения, каждое слово, даже мысль, приходящая в голову, становились слишком тяжелы и трудны. Мне необходимо было поспать.

— Если тебе надо уединиться, можешь воспользоваться моей ледяной пещерой, — произнес я. — А я должен поспать… Должен… Должен…

Погружаясь в свои ворсистые меха, я протянул Джохору комок сушеного мяса и увидел, что он отломил кусочек и попробовал его, без всякого удовольствия, но с явным интересом: Канопус *интересовался* всем происходящим, должен был интересоваться по своей природе — даже если это была смерть планеты…

Я проснулся с осознанием бодрствования: «Вот он я, в этом давящем тепле шкур и мехов». Я понимал, что хотя в более счастливые дни я просыпался, ощущая: «Это мое состояние, а то был

сон, теперь я займусь тем или иным делом», в тех мыслях никогда не было такой остроты, такой настоятельности.

Естественность нашей прежней чувственной жизни не требовала от нас какого-либо самоосмысления. Теперь я тоже всплывал через пласты сна, и мое тело поддерживалось теплом, словно теплыми водами нашей прежней жизни, и разум тоже был спокоен и свободен, но все-таки я знал, что почти сразу же должны нахлынуть напряжение и боль нашей новой жизни. Я задумался, так ли пробуждаются на полузамерзших склонах наши огромные косматые животные, с расслабившимися мускулами под покровом меховых шкур. Чувствуют ли они, поднимая головы, открывая глаза и глядя на кружащиеся снежинки, что через миг на их громоздкие члены навалится напряжение, вынуждая их подниматься на ноги и заниматься добычей пропитания?.. Но пока они лежат там, они покоятся во сне, навеянном приятными воспоминаниями… И вот они должны карабкаться вверх, скользя копытами по скалам и гальке, скрести зубами о поверхность мучительно холодных камней, обгладывая лишайник и разгребать чувствительными носами снег, чтобы добраться до почвы, до земляной пищи,

что так плотно и неудобно ложится в желудки. И я был зверем, как они, под звериным покровом, думая о звериной пище, и столь сильно было мое отождествление с ними, что я почувствовал, как через клочья шерсти на моем плече проник холодный воздух, и едва не поверил, что это ветер. Я повернул голову и увидел, как бесшумно вошел Джохор, приоткрыв дверь лишь самую малость и тут же закрыв ее от холода.

Он сел на груду сухого вереска и посмотрел на меня. Я быстро закрыл глаза, ибо пока еще не мог вынести усилия заставить свой разум столкнуться с ним.

— Пурга, — сказал он, зная, что я проснулся. — На улице никого нет — я прошел через город от дома к дому, и повсюду люди лежат, как и ты, молча, завернувшись в шкуры.

Я взглянул на крышу над нами: пучки вереска, заложенные сверху дерном и землей. Вереск и каменные стены были покрыты инеем.

— И пока ты стоял на пороге, — отозвался я, — ты видел, как поднимались головы, одна за другой, как при виде тебя блестели глаза, а затем гасли, когда люди снова проваливались в сон.

— Да. Снова проваливались в сон.

— Снова во тьму, из которой мы все приходим.

— Снова — к свету, из которого мы все приходим.

— Мне не снился свет, Джохор! Я приходил в себя из…

— Откуда?

— Из чего-то приятного и чудесного — я знаю это. Чего-то, к чему я стремлюсь.

— Свет. Мир ослепляющего света, весь как искрящееся чудо — где сверкают цвета, по которым ты так тоскуешь, — откуда ты пришел.

— Это ты так считаешь, Джохор.

— И куда ты вернешься.

— Ах, но когда, когда, *когда*…

— Когда ты заслужишь, Доэг, — ответил он тихо, но достаточно твердо, чтобы заставить меня выскочить из шкур, выпрямиться и принять тяжесть своих членов, не желавших ощущать мой вес — вес жизни. Вес мысли…

Но я все-таки заставил себя сесть и посмотреть на него.

— А они, те несчастные люди, что жмутся друг к другу, мечтая о рае, что был им лживо обещан, — как они его заслужат? Как они наконец-то достигнут света — где бы он ни был, ведь ты не сказал мне этого, Джохор.

Он пристально посмотрел на меня и сказал:

— Представитель Доэг, когда ты лежишь и мечтаешь, воображаешь ли ты, что твои сны являются только твоими — воображаешь ли ты, что сны, порождаемые тобой, единственно твои? Считаешь ли ты, что когда ты приходишь в себя после мира снов, который, как ты полагаешь, с тобой никто не разделяет, — что твое осознание себя, это ощущение «Вот он я, вот Доэг» принадлежит лишь тебе, что больше никто не испытывает этого ощущения? Когда ты пробуждаешься с мыслью: «Это Доэг, это ощущение меня, Доэга», — сколько других в этот же самый момент просыпаются по всей планете, думая: «Это я, это ощущение меня»?

Мне было горько отдавать тот крохотный клочок, где я мог найти себе отдохновение, убежище — мысль «Это я, я, Доэг», — и я воспротивился. Я сказал:

— Не так давно я был проворным, стройным, смуглым и просыпался по утрам с мыслью: «Совсем скоро я выйду на солнце, и оно будет играть бликами на моей коричневой коже, и с ароматной мягкостью будет втекать в мои легкие и вытекать обратно воздух…» Вот это был я, тогда, вот это был Доэг. А теперь я толстый, грузный и сальный, с тускло-серой коричневатой кожей. Но

я все еще Доэг — это ощущение сохранилось, — и вот теперь ты, Джохор, говоришь, что я и это должен выкинуть из головы. Очень хорошо, я не грациозное красивое животное, каким был, и я не этот неуклюжий ком. Но я все еще выныриваю из сна и ощущаю: «Вот он я». Я осознаю себя. «Тот, кто лежит здесь — это я, после стольких путешествий и приключений, случившихся во сне».

— В твоем совместном сне.

— В моем совместном бодрствовании — в таком случае, Джохор, за что же мне тогда держаться в нем — за пургу, которая сдувает все, все, все?..

— Помнишь ли ты, как мы, эмиссары Канопуса, пришли к вам всем и рассказали, что создало вас, создало ваш мир?

— Да, это было незадолго до того, как вы пришли и велели нам строить стену, которая защитит нас ото льда.

— Которая защищала и защищает вас ото льда.

— Которая уж лучше бы давно рухнула, положив конец этой долгой тоске и мучению.

— Нет.

— Потому что осталось что-то еще, что нужно сделать? Что? Ты проделал долгий путь от своего места в галактике досюда, ты отослал свой космолет, и ты сидишь здесь со мной, в этом сарае и…

— Ну же, Представитель!

— Что я представляю, Джохор?

— Ты помнишь, чему мы вас учили?

Я приподнялся в своем гнездышке и весь укутался в шкуры так, что открытым осталось только лицо. Почти вплотную ко мне из-под капюшона виднелось лицо Джохора.

— Я помню, как впервые мы поняли, что вы учите нас тому, что в некотором смысле никто из нас прежде не делал — непосредственно. Ты попросил нас подняться на холмы с другой стороны стены и выбрать место, где земля поднимается со всех сторон. Мы собрались там, все из города и дальних окрестностей. Ты попросил нас привести одно из животных — из тех, что уже вымерли, — которое мы намеревались забить на мясо. Ты попросил нас забить его до того, как соберутся люди, и нам, Представителям, понравилось, что акт убийства не окажется связанным с твоим присутствием, ибо, хотя мы и не скрывали, что является причиной нашего употребления мяса, мы пытались вообразить, что на всем этом нет смысла останавливаться — на скотобойнях, разделке туш. Ведь когда мы, Представители, собирались, чтобы обсудить эту тему, то по какой-то причине всегда обнаруживали в себе отвращение, страх

перед убийством животных. Нам всегда казалось, что это опасная сфера. Нечто, что могло захватить и распространиться, — и все же мы не помнили, чтобы Канопус что-либо говорил об этом.

— Один из четырех видов, которые были использованы для вашего создания, легко побуждаем на убийство. Некоторые из нас на Канопусе не желали применять этот материал, в то время как другие настаивали на нем, так как это был — и все еще есть — физически сильный вид, выносливый, способный переносить лишения.

— Когда мы все стояли на тех склонах, спускавшихся к этой мертвой антилопе, и мой старый друг Марл поднял нож, чтобы вспороть тушу, я ощутил во всем своем теле чувство возбуждения — и я боялся назвать это удовольствием, но я знал, что так оно и было. И когда ее распороли от глотки до хвоста и выпали ее внутренности, я знал, как легко мне было бы погрузить руки в эту массу и затем… — Красный туман затмил мой разум, а когда он развеялся, покрытые инеем ветки, крыши, серые камни и укутанное лицо Джохора выглядели еще более чахлыми и отталкивающими.

— Да, — сказал он, — вы правильно проявляли осторожность.

— И все-таки ты созвал нас там, чтобы мы смотрели на разделанную тушу этого убитого животного. Мы стояли под теплым солнцем, и ветер доносил до нас ароматные запахи с озера, а мы смотрели на кишки, лежавшие кучей, — вместе с сердцем, печенью и другими внутренностями, вместе с головой, хвостом и шкурой, а рядом лежали кости, подобные ветвям дерева. И мы не могли успокоиться, и ходили вокруг по склонам, и вдыхали запах крови, который словно исходил из наших воспоминаний, а затем ты отделился от нас и встал, окруженный этими кровавыми кусками мяса и костей. И ты сказал нам: «Вы дивитесь, каждый из вас, куда делся зверь — где то подлинное от зверя, каким вы его знаете. Где же его обаяние, его дружелюбие, его изящество, его манера двигаться — все, что так вам нравится. Все вы знаете: то, что лежит здесь, не является верным представлением об этом мертвом звере. Когда мы смотрим на холмы, где ветер волнует травы и колышет кустарник, то видим там тот же дух, что был истиной этого мертвого животного — мы видим быстроту, свежесть и очарование. И когда мы смотрим вверх, на игру облаков — это и есть реальность зверя. И когда мы смотрим по сторонам друг на друга и видим, как мы прекрас-

ны, то снова мы видим зверя, его приятность и правильность…» И так говорил ты, Джохор, еще долго, прежде чем прекратил распространяться о красоте и изяществе. Затем ты наклонился над кучками мяса и костей, взял голыми руками сердце и протянул его нам, и ты сказал, что каждый из нас — это вместилище сердца, печени, почек, кишок, костей, и каждое из этого — целое и знает себя. Сердце знает, что оно сердце, и оно ощущает себя таковым. То же самое с печенью и с каждым другим органом внутри каждого животного, внутри вас. Мы — мешок, вместилище меньших предметов, цельных частей, сущностей, каждое из которых ощущает собственное своеобразие, говорит себе: «Вот оно я!» Но это собрание из сердца, легких, кожи, крови, упакованных так плотно и искусно под кожей, есть целое, есть тварь… И ты, Джохор, вызвал у нас смех, когда мы стояли там тем прекрасным утром, которое я запомнил как цвет, цвет — синий, зеленый и приглушенный красный, желтый — сказав, что печень, быть может, уверена, что она лучший и важнейший орган в теле, и сердце тоже, и кровь, и что, быть может, они даже уверены, что тело целиком состоит из сердца, или печени, или крови… Да, я помню, как мы все смеялись. И так

этот урок и закончился. А когда Канопус снова вернулся к нам, ты привез с собой приборы, с помощью которых можно было разглядеть самые маленькие вещи, и долгое время все мы, вплоть до детишек, изучали очень маленькое через эти приборы.

— И что же ты запомнил из этого случая, что запало тебе в душу сильнее всего? Было ли это неприятное зрелище окровавленных органов, сваленных на земле, или твоя жалость к зверю?

— Нет, меня поразило, как ты научил нас видеть обаяние и быстроту зверя повсюду — в движении воды или в рисунках, что раньше вычерчивали стаи птиц, когда они еще кружили, носились и парили по небу.

Тут в сарай быстро проскользнула Алси, открыв дверь по возможности меньше. В своем панцире из шкур она выглядела тяжеловесной и нескладной. Но она улыбнулась нам обоим и приступила к своей работе — заталкивала через отверстия вереск, лишайник и кору в вольеры снежных зверьков. У нее ушло на это много времени, и я вспоминал, какой проворной она была некогда. Закончив, Алси встала перед нами и распахнула свою шубу, и мы увидели под ней маленькую доверчивую мордочку одного из ее домашних

зверьков, с яркими голубыми глазками, и она погладила его — так, что стало ясно, насколько девушке необходим этот контакт с живым, преданным существом. Затем она сказала:

— Представители Озера говорят, что в нем осталось совсем мало тварей.

— Не беспокойся, — ответил я, поскольку Джохор молчал. — Больше еды, чем мы съедим, нам не понадобится.

Алси кивнула, ибо уже начала понимать, что происходит. Затем сказала:

— Из множества городов и деревень уже приходят новости, что люди решили объявить голодовку, желая умереть.

Джохор велел:

— Пожалуйста, соберитесь все, у кого еще сохранилась воля, отправьтесь по этим местам и скажите им: «Канопус просит вас оставаться в живых, сколько сможете». Объясните, что это необходимо.

— Это необходимо?

— Да.

— Даже если очень скоро мы умрем?

Алси вздохнула с упреком, ей было тяжело смотреть на Джохора. Но она смотрела, и он почувствовал, как его охватило смущение — я ви-

дел, что канопианец заерзал под шкурами, словно придавленный тяжким грузом. Она была такой честной и откровенной, такой сильной, такой прекрасной — и она совершенно не позволила себе впасть во всеобщую апатию и безразличие.

— Существует множество способов умереть, — ответил Джохор спокойно.

Он посмотрел Алси прямо в глаза. Она не отвела взгляд. Это был миг, когда, казалось, захотели раскрыться невидимые двери, захотели впустить правду, новое знание… Я ощущал этот нажим внутри себя. Я смотрел, как девушка смело изучала глаза Джохора. И при этом она все гладила и гладила по голове своего маленького друга, смотревшего на хозяйку с такой доверчивостью.

— Хорошо, — ответила Алси, — я прослежу, чтобы они все получили послание Канопуса.

И Джохор кивнул — его кивок словно говорил: «Отлично, значит, я могу на тебя рассчитывать». Алси снова выскользнула, впустив рев бури снаружи, вместе с роем белых хлопьев, которые не растаяли, а легли пятном на каменный пол у двери.

Я сказал Джохору:

— Легче вынести новость о смерти миллиона человек, нежели думать, что Алси вскоре умрет от

голода под грудой зловонных шкур. И я ненавижу это в себе, Джохор. Я никогда не мог принять эту пристрастность в нас.

— Ты жалуешься, что мы не довели ваше создание до конца, — заметил он не без доли юмора.

— Да, представь себе, жалуюсь. Я не могу с этим справиться. Я никогда не был способен смотреть, как кто-то оплакивает близкого и мучается из-за его смерти, и в то же время совершенно не реагирую на какую-нибудь всеобщую болезнь или опасность.

— Ты забываешь, что мы не ожидали для вас таких испытаний.

— Ах, канопианец, вы все-таки ожидаете слишком многого от нас, несчастных созданий, которые просто не могут подняться до необходимого уровня.

— И все-таки, когда только что здесь стояла Алси, когда девушка взялась столь основательно и смело за то, о чем я попросил ее, мне показалось, что как вид вы действительно вполне способны к тому, что требуется.

— Снова — один человек, одна личность должна представлять столь многих!

И когда я произнес это, я почувствовал знакомый нажим, словно что-то глубоко внутри

меня сигнализировало о чем-то, что я должен понимать.

Это произошло, как раз когда я позволил себе провалиться в сон. А когда я проснулся, Джохор терпеливо сидел, ожидая, что я продолжу. Я успел лишь отметить: «Вот он я!» и еще подумать: «Но мое «я» не является моим собственным, не может быть таковым, оно должно быть общим и совместным сознанием», когда Джохор попросил:

— Доэг, расскажи мне, что вы все узнали за то долгое время, что изучали материал вашей планеты при помощи новых приборов.

Было очень тихо. Завывание ветра прекратилось. Я представил, как снаружи снег ложится в валы свежей белизны. Как Алси пробивает себе путь через снег, утопая по пояс в сугробах, вместе с теми, кого смогла поднять, и как остальные продираются в близлежащие города и села, гадая, успеют ли они туда, прежде чем вновь начнется пурга и заволочет воздух белым, белым, белым…

— Мы узнали, что все состоит из более мелких объектов. А они, в свою очередь, из еще более мелких… Эти наши органы, сердце или печень, о которых мы совсем и не думали, а просто знали, что они есть и выполняют свои функции, состоят из различнейших частей разнообразнейших

форм — ниток, комьев, полосок, слоев, губок. А эти части и куски состоят из клеток всяческих типов. А клетки — каждая из которых обладает собственной деятельной и достаточной жизнью и смертью тоже, ведь эту смерть можно наблюдать, как и нашу, — состоят из скоплений еще меньших живых частиц и молекул, которые тоже состоят из столь многих частиц, и эти частицы тоже…

Мои глаза, перед которыми стояли препарируемые куски плоти, сердца, видевшиеся растворяющимися в бурлении крошечных жизней, снова восприняли Джохора: нагромождение шкур, из которого выглядывало мертвенно-бледное лицо. Но даже тогда это безошибочно был Джохор, сидевший там, наличие, прочность — *цельность.*

— Джохор, — продолжил я, — я сижу здесь, ощущая собственную цельность, вес материи, плотность, в той форме, в которой знаю каждый изгиб и каждый участок, а мой разум говорит мне, что это ничто — ибо я знаю это из того, что мы видели через ваши приборы.

— Что же было, когда вы дошли до самых мельчайших объектов, которые только можно разглядеть?

— Существует ядро — чего бы то ни было. Но

и оно разлагается снова и снова. А вокруг него нечто вроде танца — пульсаций? Но пространства между этим ядром и колебаниями столь огромны, столь огромны… что я понимаю: ощущаемая мною цельность — ничто. Я — форма дымки, пятно окрашенного света, как мы видим — или видели, ведь теперь мы видим только снег, заполняющий пространство солнечного света — лучи света с плавающими в них пылинками. Я, при более детальном рассмотрении, нежели мне могут позволить мои собственные глаза, отнюдь не плотен и целен… Но, Джохор, пускай я и понимаю, к чему ты меня подводил, чтобы я выразил тебе, что эта тяжесть… Ведь я так тяжел, так тяжел, так толст и так тяжел, что едва могу вынести это, — что эта тяжесть суть совершенное ничто… Форма света, в которой в одних местах частицы всего лишь расположены немного плотнее, нежели в других… Но то, что осознает мой разум, совершенно бесполезно для моей неуклюжести, Джохор. Что ты видишь от меня, твоими глазами, принадлежащими другой планете, по-иному отягощенной звезде, — я могу представить, ведь я видел, как клетки и молекулы исчезают в своего рода танце, но…

— В танце, который ты видоизменяешь соглас-

но тому, что наблюдаешь. Или согласно тому, что думаешь о нем, — заметил он.

Вокруг нас сгустилась тишина, тишина-слушание. Но ощущение неудобства и нетерпение вынудили меня нарушить ее:

— И все-таки это ничто, этот вес и гнет материи, что столь мучительно лежит на всех нас, и есть то, с чем ты имеешь дело, Джохор, ибо ты сидишь здесь, ты сидишь в этом промороженном месте, и ты говоришь: «Не умирайте пока, заставьте себя жить», — и ты ведь хочешь, чтобы эти тела жили, эта плоть, что исчезает, когда ты смотришь на нее по-другому, переходит в подобие пылинок в лучах солнца.

Да, потом я заснул, отключился, отошел и вновь вернулся со словами:

— Я часто задумывался, глядя на мельчайшие колебания и пульсации, из которых мы состоим, где же тогда наши мысли, Джохор? Где то, что мы чувствуем? Ибо невозможно, чтобы это не было материей, такой же, как мы. Во вселенной все суть стадии материи, начиная от огромного и вплоть до крошечного, так что мы заканчиваемся на том, что все то, из чего мы состоим — кристаллическая решетка, сетка, ячейка, дымка, где частицы и движения столь малы, что мы даже не

можем их наблюдать, — все сцеплено в строгую и точную систему, которая, тем не менее, не существует для глаз нашей обычной жизни — и в этой системе мельчайшего и крошечного где же тогда субстанция мысли?

Я вижу себя, Джохор… Я ощущаю себя… Внутри этой массы жидкостей, тканей, костей и воздуха, которая так тяжела, так тяжела, но которая, тем не менее, есть ничто, которая едва ли существует — когда я испытываю гнев, несется ли он по промежуткам ячеек и системы, которая, как я знаю, должна быть мною? Или когда я испытываю боль, или любовь… или… Я произношу эти слова, и каждый знает, что я подразумеваю под гневом, желанием, утратой и всем остальным — но есть ли у вас на Канопусе приборы, чтобы разглядеть их? Видишь ли *ты* их, Джохор, своими отличными от наших глазами? Видишь ли ты меня, сидящего здесь, это несчастное животное по имени Доэг, как пятно окрашенного света, меняющее свой цвет, когда по мне проносится ярость или страх? Откуда проносится, Джохор? Субстанция нашей плоти, материя, из которой мы состоим, разлагается на огромные пространства, ограниченные движениями танца. Но *мы* пока еще не положили страх или одиночество под приборы.

Я снова провалился в сон — в сон столь яркий, приятный и детальный, что он представлялся мне таким же реальным миром, как и любой, что я знал в бодрствующей жизни, на нашей планете или какой другой. Ландшафт, по которому я передвигался, чем-то напоминал нашу планету, но все же был отличным; события, люди, ощущения — все было мне известно, но не в повседневной жизни. И я видел этот сон и прежде и узнал его — или, скорее, его обстановку. Лишь только я оказался в этом сне, как уже говорил себе: «Да, я знаю это место, потому что *знаю его аромат».* Я проснулся через какое-то время, долгое или короткое, и атмосфера сна была столь сильна, что никак меня не оставляла, и она мерцала над подернутыми инеем серыми и коричневыми внутренностями сарая притягательными цветами, которые для нас теперь были лишь достоянием памяти, поскольку исчезли из нашего мира. И затем сон померк, и я сказал:

— Мне снился сон.

— Да, я знаю. Ты улыбался и смеялся, а я наблюдал за тобой.

— Джохор, я мог бы рассказать тебе сюжет моего сна, поскольку он был упорядоченным, с началом, развитием и концом, в точности как

легенды Доэга, сказителя, и я мог бы описать тебе происшествия, приключения и людей в нем (некоторых из них я знаю, а некоторых — нет), но я не смогу описать тебе *атмосферу* сна, хоть она столь сильна и столь характерна для этого сна, для этой серии снов, что я никогда бы не спутал ее с другой. Я узнаю ее с первого же мига, как оказываюсь в этом исключительном пейзаже сна или даже когда приближаюсь к ней из другого сна, я узнаю ее обстановку, ощущения и впечатления. Я не смог бы описать тебе или кому-то другому, что это за атмосфера. Для этого не существует слов. И тем не менее, сферы чувств и мыслей схожи со сферами снов. Ведь у чувства есть запах и вкус, его *ощущение*, которое не описать словами, но можно сказать каждому «любовь», «желание» или «зависть» — и он точно поймет, что ты имеешь в виду. И чувства в тебе, наподобие «любви», будут обладать теми же самыми качествами и будут теми же самыми для каждого, так что слово «любовь» — это средство общения, мы знаем, что подразумевается под ним. А когда мысль, которая по существу бесцветна и безвкусна, окрашивается горем или мстительностью, у нее появляется вкус, своя собственная жизнь, поэтому, когда ты переживаешь эту отягощенную несчастьем или

переполненную радостью мысль, сначала появляется эмоция, а потом уже слово, и я говорю тебе или Алси: «Я обдумываю мысль, у которой качество радости», и ты и любой другой разделяете мое переживание. А этот запах или вкус *есть субстанция*, материя, вещество, поскольку все есть, все должно быть; поскольку если бесконечно малый танец, на который распадается ядро — и не то, что является сердцевиной атома, — есть вещество, тогда таковыми должны быть и страсть, и надобность, и наслаждение. Способен ли ты, Джохор, увидеть, где биения атома распадаются в формы движения, о которых ты можешь сказать: «Это — зависть, это — любовь»?

Как вещество или субстанция любви видоизменяет этот крохотный танец? Как соотносится с ним? Ведь именно *физическая* субстанция наших тел, наших сердец порождает любовь или ненависть, страх или надежду, — разве не так? — и она не может быть отделена от них. Порыв, что есть любовь, должен исходить откуда-то из тех ужасных пространств между уплотнением атома и его электронами, которые распадаются, как и все остальное, на все меньшее и меньшее и становятся флюидом или движением — или *же дверью во что-то* еще?

Я могу задать тебе этот вопрос, зная, что, говоря «любовь», говоря «страх», я разделяю это чувство с тобой — и затем я возвращаюсь в область сна, где провожу треть своей жизни, которая просто переполнена чувствами, но также и восприятиями и ощущениями, которые не имеют ничего общего с чувствами, а, скорее, должны описываться или предполагаться как цвета, покрывающие предмет или место, — я могу сказать: «Джохор, мне снился сон», вернувшись в этот здешний мир, и мои сны будут ярче, нежели мое бодрствование, и атмосфера, в которой я совершал свои путешествия во сне, будет той, что я знал всю свою жизнь, с самого детства, но я *не могу подобрать ни одного слова,* которое отразило бы для тебя или кого-то еще это ощущение, вкус, цвет или восприятие. Это полнейшее одиночество, Джохор… И все-таки мне интересно, когда ты говоришь: «Я наблюдал, как ты спишь — как ты смотрел сон», — можешь ли ты, с твоими глазами, что сотворены на планете звезды, обремененной иначе, нежели наша, можешь ли ты сказать, когда наблюдаешь: «Доэг передвигается по *тому* пейзажу сна, тому месту, встречается с теми-то и теми-то людьми — Доэг *разделяет субстанцию того места* — я знаю, что это так, потому что вижу субстанцию того другого

места, или времени, или биения, перемещающуюся по пространствам субатомных частиц или движений»... И если это так, Джохор, тогда это немного смягчает одиночество знания — когда я даже своим ближайшим друзьям не могу сказать ничего такого, что бы донесло до них аромат сна.

— Когда ты видишь сон, воображаешь ли ты, Доэг, что видишь его один? Думаешь ли ты, что когда ты входишь в область своего сна, она знакома лишь тебе одному? Что ты единственный из всех людей на этой вашей планетке знаешь сию особенную область? Может, ты и не способен подобрать слов для ее описания, чтобы другие могли понять, где ты был, но другие знают ее, потому что и они передвигаются там, когда видят сны.

И на этом наша беседа закончилась, поскольку в сарай вошли Алси с Марлом, Массоном, Братчем и Педугом, до Великого Льда отвечавшим за Образование Молодежи.

Пока Джохор и я сидели в этом холодном сарае, бодрствуя и видя сны, у полюса, что все еще был свободен от снега и льда, началась небольшая подвижка к теплоте, которую мы теперь называли летом. На этом пространстве, на пересечение которого ушло бы двадцать наших дней, распо-

лагалась область растительности, и там впервые появилось растение, доселе нам неизвестное. Это был весьма быстро выраставший — достигавший своей полной высоты всего за несколько дней — хрупкий сочный кустарник, благоухающий и обильно покрытый голубыми цветками, — и он занял всю эту область нашего шара, примерно его восьмую или десятую часть. Клин, обычно трудившийся там целый год, посетил долину, располагавшуюся ближе к середине нашей планеты, которая некогда была очень теплой и плодородной, в надежде, что там сохранился достаточно мягкий климат, чтобы можно было что-нибудь выращивать, пускай даже вереск и папоротник. Но оказалось, что, увы, долина была засыпана снегом, так что он направился оттуда назад к полярным территориям и по пути повстречал посланников, сообщивших, что стада наших огромных животных собираются повсюду, чтобы добраться до полей и склонов, устланных новым растением, наполняющим воздух доселе неизвестными нам ароматами. И ко времени, когда Клин достиг расстояния десятидневного перехода до полюса, где тундра и серость переходят в страну этого скоротечного лета, он увидел, что эти стада, огромное количество стад, покрыли

собой все — топоча, вставая на дыбы, издавая рев и заставляя землю содрогаться, они выражали небывалое удовольствие, свое опьянение этим чудом — свежей, сочной, благоухающей пищей. Они все были пьяны ею: катались по земле, трясли своими огромными головами, словно гигантские рога ничего не весили, ревели и даже скакали — и от этого разрывалось сердце, говорил Клин: при виде того, как эти отчаявшиеся голодные животные высвобождались там, в счастье и легкости — если последнее слово применимо к этому тяжеловесному возбуждению и боданию; хотя, если вы привыкли созерцать ландшафт, заполненный этими весьма унылыми животными — опустившими головы, с отвращением обнюхивающими служившую кормом землю, но все равно поедающими ее, — животными, которые, казалось, едва могли двигаться, которые крались, поскальзывались и падали на обледенелых местах, когда все-таки двигались, — если именно так, с болью и состраданием, привыкли вы смотреть на них — тогда, по контрасту с этим, эта внезапная энергичность действительно была чудом.

Однако свежести и зелени жаждали не только стада: они пожирали и уничтожали то, что могло

бы оказаться полезным для нашего населения. Люди из близлежащих к полярным территориям городов и селений воодушевлялись обещанием новой свежей пищи и, моргая и спотыкаясь, выходили из своих зловонных темных жилищ в привычную серость — и видели за плотными низкими снежными облаками бледную голубизну, наше скоротечное лето. И, идя к полюсу по горьким и жестким стеблям да побегам растений тундры, они видели перед собой голубое, голубую дымку, простирающуюся над землей, словно пали небеса или словно земля начала отражать небеса. Даже массы огромных животных, все заполонивших, не могли полностью скрыть красоту этих растений с голубыми цветками. Воздух наполнялся острым и резким ароматом, оживлявшим людей, сбросивших свое ужасное безразличие и апатию. Они разделились на группы и отогнали животных с половины плодородных земель — ибо мы не желали лишать их этой пищи совсем, нам необходимо было их мясо, и мы опасались, что скоро и они вымрут — столь мало оставалось для них корма. Там, где животные выели эти растения до самой земли, они вырастали сразу же вновь: повсюду раскинулась бледно-голубая пелена. И люди, сбросив с себя шубы из толстых

шкур, лежали среди этих цветущих кустов, плача от радости, и даже катались, бегали и прыгали, как делали эти несчастные животные — теперь уже оказавшиеся в более ограниченном и сжатом пространстве, — и постоянно ели, да еще так быстро, как только могли, наполняя себя, пока была возможность, ибо они, казалось, знали, что эта щедрость не будет долгой — уже прошла половина нашего «лета», во время которого более не росли ни фрукты, ни злаки, ни овощи и вообще едва ли что-то большее, нежели редкая трава. А здесь же было это чудо, это диво, через которое можно было идти целых двадцать дней среди зелени и синевы, под голубым небом, в котором облака нашего старого мира — белые, плотные, ленивые и очаровательные — плыли день-деньской, словно и не знали ничего о темных угрюмых скоплениях туч, переполнявших горизонты.

После дня, проведенного на этих благоухающих пастбищах, наши люди заново рождались, становились такими, какими были прежде: было очевидно, что в растениях содержится какой-то сильнодействующий, живительный для здоровья элемент. Клин отправил послание Братчу, являвшемуся Представителем Здоровья, и тот

немедленно прибыл, и послал за помощниками, и вскоре из этого растения, выраставшего столь же быстро, как и срезавшегося, было заготовлено огромное количество своего рода сена, ибо это были скорее высушенные цветы, нежели листья; а затем встал вопрос, как распределить этот живительный продукт, ибо его было недостаточно, дабы обеспечить всех наших людей даже небольшим количеством.

Кто должен получить привилегию? На каком основании это должно решаться?

Расположившиеся в сарае Клин, Марл, Массон, Педуг и Братч возбужденно рассказывали нам все это; им не хотелось, как было видно, находиться в этом месте — у них перед глазами все еще стоял прекрасный скоротечный мир полярного лета, который они неохотно покинули, дабы посовещаться со мной, с другими Представителями и с Джохором. Но я видел, что они едва смотрели на него, их взгляд, казалось, избегал канопианца. И это не только потому, что прежде они не видели его столь ясно как человека, схожего с нами, страдающего и бледного под оболочкой из звериных шкур, но и потому, что они ничего от него не ждали. Однако им никто еще не говорил: «Эта планета спасена не будет, данные вам обещания

не выполнят». И, казалось бы, вполне можно было ожидать, что каждый подойдет к Джохору и спросит: «Канопианец, а где же твоя флотилия космолетов, когда ты увезешь всех нас отсюда?» Но никто этого не спросил. И Джохор оставался молча сидеть на куче мешков с дроком.

— Зачем оставаться здесь, в этом умирающем месте, — заявил Марл, — даже на то время, что нам потребуется для совещания? Пойдемте, мы доберемся до лета и сможем принять все решения там.

И вот в результате мы — Джохор, я и все остальные, а также десять других Представителей — пробивали себе путь через снег у нашего города, затем карабкались и скатывались с холмов и горных перевалов, рискуя умереть от холода, и снова шли туда, где могли видеть впереди себя одну сплошную голубизну — голубые небеса и голубую землю, — и пронизывающий ветер доносил до нас не резкий холод, но теплые целительные ароматы, что мы совсем позабыли. И мои глаза словно набухали и росли, впитывая цвета, по которым так изголодались… И все-таки, даже когда я брел к голубизне и прекрасному лету впереди, я твердил про себя: «Я — пятно или дымка частиц, на которых блестит свет, я — ничто, соединение

огромных пространств, ограниченных танцем, что мой разум не в состоянии постичь, мчусь вперед — в ничто, ведь если бы я увидел эту страну лета, как ее видит Джохор, его канопианскими глазами, то я увидел бы вселенную пространства, где расплывчатые формы смещаются, строятся и распадаются, — я — ничто, мчусь вперед — в ничто, рыдая на бегу. И где же обитают чувства, что вызывают эти слезы, Джохор? Где в огромных пространствах расплывчатой дымки, которая есть я, где во флюиде, затопляющем структуру танца атомов, где… И как… И что, Джохор?»

Когда мы добрались до склонов, где из-за кустов, налитых голубыми цветками, виднелась зелень, мы бросились на землю, катались по ней и, усевшись среди лета с заснеженными пиками и полузамерзшими землями за спиной, смотря на солнечный свет, в котором блуждали тени облаков да внезапные холодные порывы, напоминавшие о зиме, что скоро опустится на это благовонное чудо, говорили о том, что должны сделать, что нам придется сделать.

Говорили мы. Джохор молчал, хотя и сидел среди нас, как будто входил в совещательную группу.

Наша проблема была чисто практической: ко-

гда мы решим, кого одарить этой пищей, то как ее переправить? Сообщение между селениями и городами прекратилось, за исключением отрядов, притаскивавших запасы сушеного мяса. Как нам перевезти партии этого легкого, но громоздкого продукта через снега и льды, и, когда эти партии будут распределены, как людям его употребить: приготовить и съесть или же просто съесть в сушеном виде — ибо все мы попробовали цветки прямо с кустов без каких-либо вредных последствий, за исключением легкого расстройства желудка, с которым нам пришлось смириться как с одной из сторон того, что мы теперь вынуждены были ожидать. Наконец Братч предложил свалить высушенное растение в пруды и водоемы, в надежде, что его оживляющий элемент переместится в воду. Часть воды можно будет доставить в заснеженные земли в сосудах, но скоро, когда вернется холод, болота и топи вновь замерзнут, и мы сможем послать санные отряды, чтобы они перевезли этот лед или даже просто перетащили его глыбы по снегу. А пока следует повсюду разослать посланников с сообщением, что здесь царит короткое лето, предоставляющее растительную пищу тем, кто сможет и совершит усилие, дабы добраться сюда и насладиться ей.

Некоторым из тех, кто организовывал живое ограждение, дабы не допустить стада к части урожая, мы велели для пользы наших людей разойтись и убедиться, что новость достигла всех населенных центров. Что до нас, мы остались, где были, используя каждый час солнечного света, чтобы уложить сено в болота и топи. Погода не была достаточно жаркой, чтобы брожение стало безотлагательной проблемой. Пахнущие землей воды этих вересковых пустошей вскоре уже стали источать благоухание, и мы проводили ночи, лежа среди живых растений, большей частью бодрствуя, ибо знали, что скоро эта передышка закончится. Сияли звезды, но не жестким холодным блеском в черноте ночей той первой экспедиции к другому полюсу: это было далекое спокойное сияние, и они все время гасли, когда по небу проносилась дымка или пелена.

Ко времени, когда посланники вернулись назад, растения перестали появляться вновь после жатвы; на холмы и долины гораздо чаще ложились тени, нежели солнце; и ветры уже не были ароматными, а заставляли нас кутаться в шубы. И стада больше не вставали на дыбы, не насыщались и не ревели, но снова притихли. Мы все отправились к месту, откуда могли обозреть

долину, запруженную этими животными, которые теперь стояли, опустив головы над землей, где не было больше ни зелени, ни голубизны, ни легкого шевеления появляющихся растений. Мы смотрели на расположившегося неподалеку от нас самца с группой самок, над которыми он верховодил, и с детенышами этого сезона — за множество последних сезонов родилось очень мало детенышей. Мы поняли по его печальной, удрученной осанке, что он ощущает провал, нужду, несчастье, ибо вновь он будет возглавлять вечно голодную, неспособную к размножению группу, поскольку природа говорит «нет», «будущего нет»; вновь им придется опускать свои мягкие морды в плотную почву, запихивая эту дрянь в желудки, усваивающие ее лишь частично. А самки с тревогой следили, чтобы детеныши не отходили от них, и их глаза были красными и дикими, и они лизали и поддерживали эти свои маленькие копии с отчаянием, полностью отражавшим переполнявшие их чувства. Стада стояли там от горизонта до горизонта — ожидая. И мы тоже теперь должны были возвращаться к своему ожиданию.

На том склоне над стадами нас, Представителей, было около сорока, да еще порядка сотни тех,

кто доставлял послания людям. Некоторые все еще приходили, маленькими группками, чтобы взять свою долю урожая, который был уже столь скуден, и они тоже катались по зелени и ели цветки. Но лишь немногие оказались способны выйти из состояния оцепенелости и совершить путешествие. Мы стояли, небольшой толпой, в ложбине меж приземистыми холмами.

Еще задолго до времен Великого Льда я научился наблюдать за поведением людей, развитием событий, что они говорят и о чем умалчивают — с тем чтобы понять, что вероятнее всего произойдет — *что уже происходит, но еще не полностью раскрылось*. Толпа собравшихся там людей, вновь кутавшихся в толстые шкуры, наблюдавших за небом, где собирались первые снежные тучи, не различалась ни по какому признаку, даже с Джохором, стоявшим среди них, — практически не замечаемым, хотя каждый и знал, что среди нас находится эмиссар Канопуса. Вскоре мы, Представители, отделились от остальных и поднялись по склону. Мы сделали это, потому что от нас этого ожидали; мы видели, ощущали, чувствовали, что должны это сделать. Джохор же остался на своем месте.

И когда мы стояли там, в количестве сорока

человек, глядя на толпу, а люди смотрели на нас, воцарилась долгая тишина. Что происходит? Мы все задавались этим вопросом, ибо обычно обмен словами между двумя группами, представляемыми и Представителями, был достаточно оживленным. Обычно было очевидно, что каждому нужно делать. Нам никогда не приходилось произносить речи, увещевать, убеждать или требовать — как я видел или же читал, это имеет место на других планетах. Нет, среди нас всех всегда царили единодушие и понимание, и это означало, что вопрос сводился лишь к следующему: такой-то позаботится об этом, и то-то и то-то будет сделано — теми-то. И в те времена было так, что Представитель, испытывавший потребность в перемене, отступал в массы, а кто-то, чувствовавший себя вправе и ощущавший в себе силы для этого, входил в группу Представителей. Но продолжительное молчание отнюдь не было нашим обыкновением. Мы испытывающе смотрели друг на друга, изучали друг друга: мы — их, а они, пристально и внимательно, — нас. И мы стояли так очень долго. С одной стороны до горизонта, где черным на белом неистовствовали бури, простирались стада. С другой — испускали слабенькое дыхание, напоминающее о теперь

уже прошедшем лете, вытоптанные и увядающие луга. Небеса над нами были серыми и низкими, и падали редкие снежинки, тут же тая на лицах, на наших пока еще неприкрытых руках. И мы изучали лица друг друга, словно рассматривали свои собственные: *что происходит?* Что ж, теперь я знаю, но тогда мне это было неведомо. Я чувствовал, словно меня избирают, но на должность, прежде незнакомую. Я чувствовал, что эти глаза, столь внимательно сосредоточенные на мне и остальных Представителях, испытывали, исследовали, едва ли не ощупывали меня. И, смотря на них, мне казалось, что прежде я их и не видел — не видел как следует, не так, как видел их сейчас. Столь близки мы были друг другу в этом отчаянном и ужасном предприятии, которое затронет нас всех, и мы могли лишь отчасти догадываться, как оно всех нас затронет.

И пока продолжался этот долгий обмен, пока длилась эта тишина, которой совершенно не требовалось слов, эмиссар Канопуса стоял там, слившись с толпой, совершенно бездеятельный и молчаливый. И все же почти каждый в этом сборище, кроме Алси и, думаю, Клина, все еще говорил так, словно верил, что Канопус увезет нас всех отсюда. Именно этого мы пока еще *офи-*

циально ожидали, и об этом — иногда, хотя все реже и реже — мы и говорили. Но никто из тех людей так и не сказал Джохору в тот день: «Канопианец, где твоя флотилия космолетов, которая заберет нас всех отсюда, когда же ты выполнишь наконец свое обещание?»

Нет, не подумайте, что в воздухе повисли упрек, или гнев, или обвинение, или даже скорбь. Это было поразительно: спокойное, молчаливое, ответственное чувство меж нами, которое действительно не допускало горя, скорби и отчаяния. Апатия скорби, отчаяния царила далеко отсюда, в глубоко засыпанных снегом землях, где наши друзья лежали в темных норах под ворохом шкур. Но здесь, среди тех немногих, кто совершил усилие, чтобы добраться до лета, царило совершенно другое настроение. И по прошествии долгого времени, пока мы стояли там, *смотря* друг на друга, все завершилось: мы все словно одновременно решили, в результате некоего внутреннего процесса, что уже достаточно. И все направились к болотам и водоемам посмотреть, не замерзли ли они еще. Пока нет, но поверхность воды уже сгустилась, и колыхающий ее ветер сначала сморщил ее, а затем сковал в пластины тончайшего льда, становившиеся все больше; а когда

на следующее утро мы все поднялись туда, где некогда вместе лежали на склонах над водой, то увидели, что вода замерзла совсем, стала белой, хотя и с чернотой болотной жижи подо льдом, а в ней видны зеленые и голубые растительные массы. Нам пришлось послать специальный отряд, чтобы отогнать от стад нескольких молодых животных, которых мы убили и приготовили, поскольку урожай закончился и не оставалось ни сена, ни свежих растений. Холодный ветер донес до нас запах крови, и мы услышали, как ближайшие к нам звери заревели и застонали, ибо и они почуяли кровь. И мы снова вернулись к давно надоевшему рациону, состоявшему из мяса, мяса, мяса, ибо короткая передышка закончилась.

Через несколько дней воды превратились в твердый лед, и мы вырезали из него огромные блоки, водружали их на сани, обвязывали веревками, и повсюду можно было видеть длинные вереницы людей, согнувшихся под тяжестью перевозки ледяных глыб — белое на белом, ибо все вновь было белым: снег, покрывавший землю, тяжелые снежные облака над нами, снежные горные пики впереди. Да еще ветер собирал в клубы снег с сугробов, которые встречались с белыми вихрями с небес.

По всем направлениям тяжело двинулись в путь нагруженные вереницы белых фигур, и наша группа карабкалась прямо через замороженные перевалы в срединные области нашей планеты, где далеко впереди виднелась вздымающаяся к серому небу белая масса нашей стены. Издали она казалась гигантской волной, застывшей перед тем, как обрушиться. Изрезанный, зазубренный гребень, возвышаясь, простирался от горизонта к горизонту, Вся стена стала теперь белой, полностью покрывшись льдом, и почти наполовину утопала в снегу.

Когда мы приблизились к нашему городу, волоча за собой сани, нагруженные льдом, некоторые из нас пошли вперед, дабы разбудить спавших. Но снова вышли лишь немногие — пошатываясь, охая и жалуясь. Из-за снежного блеска они были едва способны видеть, после долгого пребывания в полутьме. Мы наседали на них: попробуйте этот лед, что мы принесли с собой — сосите его, отнесите в жилища и растопите, пейте эту воду и, вот увидите, — вы тоже почувствуете прилив сил и бодрости. И некоторые так и поступали, и оживали, и более уже не возвращались к своей ужасной смерти-во-сне. Ибо многие умирали во сне, и их уже нельзя было оживить, даже искус-

ство Братча тут оказывалось бессильно.

Около четверти населения нашего города стояло в глубоком снегу на центральной площади, там же были и Клин, Марл, Алси, Массон, Педуг и Братч, я и Джохор. И вновь воцарилась долгая тишина, продолжавшаяся столь долго, сколько было необходимо — для чего? И она совершенно не нарушалась, но, казалось, укрепляла и утоляла нас всех. И пока это длилось, все дольше и дольше, произошло нечто, отличное от той тишины, что царила на склонах полярной земли. Джохор немного выдвинулся из толпы и стоял, совершенно спокойный, смотря на нас всех. Он как будто *давал нам возможность для чего-то… Для чего?* Его взгляд переходил с одного лица на другое, и мы видели, насколько бледен и изнурен он был, ничуть не меньше прочих, несмотря на недавнее небольшое путешествие в лето.

Ах, там было так темно, так темно — среди бурь, обрушивавшихся на все вокруг нас, плотных низких туч над головой, мрачной ледяной стены, вздымавшейся за нашими спинами, и тьма эта была выражением того, что я тогда чувствовал, ибо на лице Джохора, смиренном в его стойком терпении, застыло выражение, говорившее, что он надеялся на что-то со стороны всех нас, что

так и не появилось… Он видел на лицах, теперь обращенных к нему, то, для пробуждения чего он выступил из толпы, хотя и не надеялся пробудить. Люди столпились вокруг него и спрашивали: «Джохор, флотилия космолетов прибудет? Когда? Сколько нам еще ждать?» Но все это говорилось тоном, совершенно не соответствовавшим самим вопросам: словно вопрос задавала лишь некая часть спрашивавшего, та часть, о которой даже сам вопрошавший знал либо мало, либо совсем ничего — внезапно мне показалось, что все они спят, или даже одурманены наркотиком, или загипнотизированы, ибо эти невнятные вопросы как будто исходили из сна. Да, мне казалось, когда я стоял там, немного в стороне, как и Джохор, и смотрел на их лица, что я нахожусь среди сомнамбул, не осознававших, что они говорят, и которые ничего не смогут вспомнить, когда пробудятся. И я гадал, звучали ли эти вопросы для Джохора так всегда: «Где твоя флотилия космолетов, когда же ты спасешь нас?» И еще сильнее меня заинтересовало в пронзительный момент осмысления, когда все вокруг представлялись автоматами, могло ли быть, что именно так обычно мы и выглядим и звучим для Канопуса: автоматы, произносящие какие-то слова, автома-

ты, выполняющие какие-то действия, автоматы, руководимые присущими нам ограниченностью и поверхностностью — ибо мне было ясно, когда я стоял там, что эти требования и просьбы были совершенно автоматическими, производимыми сомнамбулами. Даже Алси, которая, беседуя со мной и Джохором, кажется, ясно поняла, что ничего подобного не произойдет, — даже она наклонялась вперед и вместе с другими спрашивала: «Когда, Джохор? Когда?»

Джохор ничего не отвечал, но твердо смотрел на них, едва заметно улыбаясь.

И вскоре также автоматически, даже безразлично, люди от него отвернулись и начали ходить по расчищенному пространству между кучами грязного снега, говоря друг другу: «Давайте уберем снег. Как же флотилия космолетов приземлится? Для них и места, чтобы сесть, нигде нет». И вот уже люди развили торопливую, суматошную деятельность, и Алси тоже, сгребая снег с этого пространства между домами, собирая его в кучи, расчищая дорожки — но все равно там не хватило бы места даже одному-единственному космолету, не говоря уж о целой флотилии огромных межзвездных кораблей, которая потребовалась бы для перевозки большого количества

людей. Но все-таки люди не расходились, они неистово работали, сосредоточенно хмурились… А я все смотрел на них так же, как, должно быть, смотрел Джохор — как будто их заставили работать с помощью какого-то совершенно пустого и незначительного стимула. Особенно внимательно я наблюдал за Алси, со скорбным неверием, но и с терпеливым ожиданием, что скоро она придет в себя — и тогда до меня дошло, что это был взгляд, который я часто видел у Джохора, когда он наблюдал за мной.

И я сказал канопианцу:

— Что ж, очень хорошо, я понимаю, что еще не время — хотя и не знаю, для *чего* еще не время.

Мы по-прежнему спокойно стояли в стороне, наблюдая. Мы были недалеко от сарая, где находился вольер для снежных зверьков, и отправились туда по изрытому колеями грязному снегу, мимо груд ледяных глыб, в которых были заморожены цветки и листья тех удивительно летних растений, зеленое и голубое. Внутри сарай был весь забит — Алси сложила в нем мешки с сеном.

Пол сарая заледенел, и теперь уже лед, а не иней сверкал на низком потолке из дерна. Мы уселись на приятно пахнущие мешки и плотнее

укутались в шубы. Из-под кучи мешков выбежал белый зверек: Алси отпустила своих любимцев в сарай, и они счастливо зажили там и даже расплодились, потому что вскоре наверх выбралось и несколько крохотных пушистых зверьков, которые посмотрели на нас и тут же избрали мешки, на которых мы сидели, местом для своих игр. Они были так доверчивы, так очаровательны, так всему радовались — что я не выдержал и закричал:

— И они скоро вымрут, все вымрут, еще один вид исчезнет из жизни!.. — И я по новой принялся упрекать Канопус, заявив: — Я прекрасно знаю, каков будет твой ответ, ибо другого не существует; ты скажешь, Джохор, что это очарование, эта радость исчезнут лишь здесь и вновь появятся где-нибудь еще — в другом месте или на другой планете, о которой мы никогда и не слышали, да, возможно, вы и сами не слышали! Очарование не утрачивается навек, считаешь ты, восхитительное дружелюбие, составляющее нрав этих маленьких зверьков, не может быть утрачено, ибо это те самые качества, что жизнь должна воссоздавать — проводники, которые содержат их в себе, здесь, сейчас, для нас — да, они скоро умрут, маленькие твари станут мертвыми, все твари, все — но мы не должны скорбеть о них, нет, ибо

их качества возродятся — где-нибудь. Не имеет значения, что они вымирают, личность не имеет значения, вид не имеет значения — и Алси не имеет значения, равно как и Доэг, Клин и Массон, Марл и Педуг, как и все остальные, ведь когда мы исчезнем, тогда… — Дойдя до этого места в своей панихиде, я вдруг засомневался, и речь моя прервалась, и я стал вникать в собственные слова. Я понял, хотя еще и не конца.

Я произнес тем же неестественным, механическим, даже мертвым тоном, что слышал на улице от других, когда они спрашивали у Джохора:

— И все-таки мы, Представители, мы будем спасены, так ты сказал, я слышал, как ты говорил это — разве нет?.. Да, что же еще ты мог сказать… Нет, нет, ты не говорил этого, но тогда и я не говорил ничего подобного… А если ты имел в виду вовсе не это, подразумевая, что я услышу… — Я прервал свое невнятное идиотское бормотание и долго, очень долго сидел совершенно неподвижно.

Маленькие зверьки устали от своих кувырканий и улеглись на мешках рядом со мной и Джохором, уютно устроившись в куче толстых шкур. Два родителя и четыре детеныша — все лизали нам руки, издавали приветственные трели и урчание, явно считая нас своими дру-

зьями. Их кроткие голубые глазки поморгали, разглядывая нас, потом стали моргать медленнее, закрылись, снова открылись, блеснув голубым, и вновь погасли: зверьки задремали, свернувшись в крохотные белые холмики.

Я прервал свои глубокие внутренние размышления, за которыми не мог следить, которыми не мог управлять, ибо у мыслей свои собственные законы и требования, и сказал:

— Я помню, как мне пришла мысль о том, что я, Доэг, оказался в форме, которой являюсь, с чертами, которыми обладаю, вследствие отбора из множества других особей. Я поставил перед собой зеркало и стал разглядывать свои черты — нос достался мне от матери, глаза от отца, форма головы от одного родственника, сложение тела от другого: деда и бабки, прадеда и прабабки. Я смотрел и говорил: руки прабабки перешли к деду, а затем к моей матери и так ко мне, и на этой голове видны его волосы, а они росли у моей бабушки, и так перешли ко мне — и я задумался о том, что эта пара, мои родители, могли бы родить — сколь много? — детей, тысячи, может, миллионы, и каждый немного отличался бы — именно это небольшое отличие и увлекло меня в этой личной игре в себя, и я вообразил, что, пока я

там стою, разглядывая свои лицо и тело, за моей спиной, с обоих боков, во всех направлениях от меня простираются мои призрачные модификации, некоторые действительно весьма похожие, другие совершенно отличные. Я заполнил этими своими видами селение, затем город, затем, мысленно, все ландшафты. Доэг, Доэг, снова Доэг, и я мысленно приветствовал этих несуществующих, никогда не существовавших людей, людей, которые не родились, потому что родился я, именно с этой формой тела и лица, именно с этим набором качеств — и я сказал этим людям, каждый из которых походил на меня: более или менее, сильно или лишь слегка, будучи того же роста, или немного выше, или ниже, с разновидностями тех же волос и глаз во всевозможном распределении вероятностей, — я сказал им: «Смотрите, вот вы, во мне… ибо ощущение себя, своего «я», то самое ощущение "Вот он я, Доэг", было бы вашим ощущением, выпади генам другие шансы, и тогда вместо меня родились бы вы, с вашей собственной формой и характером». Следовательно то, что родилось, для этих хранилищ длившейся миллионы лет игры генов было *ощущением,* сознанием, было самосознанием: «вот он я». И этому самосознанию позже было дано имя Доэг — хотя за свою

жизнь я пользовался множеством имен. Данное частное *ощущение* родилось в этой форме, типе и наборе унаследованных черт, а могло бы родиться в любых из множества остальных, вероятности которых стоят и стояли перед моим мысленным взором, подобно привидениям, улыбаясь, возможно, немного криво, наблюдая за мной, коему *случилось* стать наследником. Но они есть я, а я есть они, ибо то ощущение, что родилось, было моим… — Затем на какое-то время я выдохся и умолк, но затем снова продолжил: — …И все же ты говоришь, Джохор, — а, конечно же, раз ты так говоришь, то это правда, это должно быть правдой, — что эта драгоценность, за которую я держусь, говоря: «Вот он я, Доэг», это ощущение, что есть я, чем обладаю, что осознаю во сне и что осознаю как себя после смерти, оставив все это позади, эта крохотная драгоценность, столь крохотная — ведь после пробуждения из такого глубокого сна глухой темной ночью нужно довольно много времени, чтобы осознать, где ты, кто ты, — все, что есть ты, твои воспоминания, твоя жизнь, твоя любовь, твои семья и дети, друзья — все это есть то самое крохотное ощущение «вот он я», ощущение *себя* — и все же оно совсем не мое, а совместное, должно быть таковым, ибо

разве возможно, чтобы существовало такое же множество образов и уровней самости, как и личностей на нашей планете? Нет, оно должно быть таковым — хотя я и не знаю этого, — это сознание, «вот он я, это я, это мое», это чувство, которое я не могу кому бы то ни было передать, как никто из нас не может передать кому-то другому всю атмосферу сна, и неважно, сколь узнаваем сон и насколько он тебе близок или как часто он снится за долгую жизнь — это чувство или вкус, осязание, осознание, воспоминание — эта самость, — тем не менее очень хорошо знакома другим. Но они могут и не знать, кто еще разделяет этот частный вкус или ощущение — этот род, или уровень, или же тип качества сознания. Встречаясь со мной, они ведь не знают, что я разделяю то, что есть они, их ощущение самих себя; и я, встречаясь с ними, будучи с ними, не могу знать, что мы одно и то же. Не можем мы и знать, сколь много нас или же сколь мало — и, равным образом, сколько существует уровней, родов или типов этих состояний сознания. Вот наша планета: миллион ли здесь различных меня? Полмиллиона? Десять? Пять? Или же мы все разделяем одно и то же качество самосознания? Нет, в это трудно поверить — хотя, почему бы и нет? — поскольку мы знаем

так мало, что мы есть, что, незримо, мы есть на самом деле. То, что существует миллион различных качеств сознания, которым обладаем все мы, когда пробуждаемся от глубокого сна во тьме и какое-то время неспособны пошевелиться, не говоря уж о том, что не знаем, где мы и зачем мы — так же вероятно, как и то, что их существует десять или пять. Но, быть может, Джохор, когда ты смотришь на нашу планету своими канопианскими глазами, ты все-таки совсем не видишь нас как личностей, а видишь как смесь личностей, разделяющих качество, что создает их, создает нас в действительности одним. Ты смотришь на нас всех и видишь не роящееся несметное количество, но наборы целых — как мы, глядя в воды нашего озера или же на небеса, видим там группки, стаи, косяки и собрания, каждое состоящее из множества личностей, считающих себя единственными и неповторимыми, но каждое образующее — как мы видим это своим высшим надзирающим оком — целое, существо, двигающееся как одно, живущее как одно, ведущее себя как одно — думающее как одно. Быть может, то, как ты видишь нас, только таким и является, беспорядочной смесью групп или коллективов, но эти коллективы не обязательно существуют

— сдается мне, пока я сижу здесь, обдумывая эти мысли, в то время как ты, Джохор, не произносишь ни слова — хотя я и не смог бы дойти до этих мыслей или подобных им, если бы тебя здесь *не* было, — сдается мне, что целые, уж группы или коллективы, не обязательно географически близки или смежны, а, быть может, личность, у которой точно такое же ощущение себя, как и у меня, когда она просыпается из глубокого сна во тьме, не зная ничего о своем прошлом, не ведая истории, лишенная и воспоминаний, но только на протяжении этого краткого периода времени, — эта личность может быть такой, которую я никогда не встречал, может жить в городе на другой стороне планеты, где я еще не бывал, да теперь уж и не побываю. Она может быть даже тем или той, кто мне не нравится, к кому я испытываю отвращение, и равным же образом и тем или той, кто меня привлекает, — ибо антипатия и сходства непредсказуемы, и порой трудно выразить разницу между привлекательностью и отвращением, приязнью и неприязнью. Но какое же измерение привносит в дело жизни, Джохор, эту мою идею — или *эту твою идею!* — что когда я занимаюсь своей работой, своим делом, присматривая за тем или иным, делая, что необходимо

делать, встречаясь с сотней людей за день, то, возможно, эти люди, с которыми я встречаюсь, не чужаки, не незнакомцы, но *я сам.* Я сам, все, что я по-настоящему знаю о себе самом, что является ощущением «вот он я, я здесь» — все, чего ты лишен, когда просыпаешься в сплошной тьме, с членами, слишком отягощенными сном, чтобы двигаться, и неспособным вспомнить, кто ты, что ты здесь делаешь, в каком месте ты просыпаешься. Ты говорил мне, Джохор, что ужасное чувство изоляции и одиночества, что находит на меня, когда я осознаю, что мне никогда, как бы я ни старался, не удавалось передать кому бы то ни было атмосферу, *реальность, настоящую* природу пейзажа из сна, тех пейзажей, где мы бродим в своих снах, но которые более реальны, нежели наше бодрствование, — эта изоляция должна смягчиться, изгнаться осознанием того, что и другие *должны* быть в своих снах привычны к этим пейзажам и встречать там меня, как я встречаю их, хотя мы, наверное, никогда не узнаем этого, когда встретимся наяву — или же все-таки узнаем, — и таким же образом мое одиночество смягчается, когда я размышляю над тем, что говоря «Я, вот он я, вот то, что я есть», выражая это ощущение, или восприятие, или вкус

самого себя — я говорю за… Но я действительно не знаю, за скольких. За других, это точно. В этом ощущении самости есть, должно быть, совместное использование, должно быть товарищество. Я уже никогда вновь не пробужусь от глубокого сна, подобного чернеющей воде, в который я столь ужасающе и изумительно доверчиво погружаюсь — так же доверчиво, как и эти маленькие зверьки устроились подле нас, отдавшись своей беспомощностью и крохотностью нам, таким огромным и совершенно неведомым для них, — не пробужусь, не думая, как я уже полагаю: *«Вот он я, вот мое сознание* — сознание тех других, кто есть я, кто есть я сам, хотя я и не знаю, кто они, да и они не знают меня…» Это странное чувство, Джохор, когда ощущаешь себя частью целого гораздо сильнее, нежели самим собой, когда ощущаешь, что перестаешь думать или говорить как один, растворяясь в некоей сути, сущности — и что внутренний центр растворяется тоже, исчезает, переходит из состояния, когда говоришь, думаешь или созерцаешь как один, в какое-то другое… Что же я тогда такое, Джохор, сидящий здесь на этой куче полузамороженных мешков, столь восхитительно пахнущих нашим прошедшим летом, с моим телом, столь стиснутым и непо-

движным в этой огромной шубе из шкур, с моим разумом, переполненным мыслями, приходящими невесть откуда и витающими в нем, словно я какое-то решето или накопитель для мыслей, на какое-то время становящихся моими, а затем уносящихся прочь? Я смотрю на тебя и знаю, что, видя стесненную, больную и ослабевшую личность, не очень-то отличающуюся от меня самого, я все-таки не вижу тебя и не знаю о тебе ничего: знаю только то — потому что так говорит мне мой разум, — что ты канопианец — и это настолько за пределами моего понимания, что мне просто приходится принимать это как есть. Я ощущаю себя, свои мысли; но, испытывая это, я распадаюсь, исчезаю, остаюсь ни с чем, ни с чем, ни с чем — пока не становлюсь лишь дуновением в огромных пространствах, что простираются между электроном и нейтроном, протоном и его спутниками, в пространствах, которые не могут быть *ничем* не заполнены, поскольку ничто есть *ничто*... — И вновь я погрузился в сон, где меня всегда ожидали темная безмятежность и утешение, и из которого я снова вынырнул, назад в холодный сарай, к Джохору. Он наблюдал за зверьками, которые уже проснулись. Своими острыми белыми зубками они прогрызли мешок,

добираясь до его содержимого, разбросали по льду высушенные ветви и кусочки зеленого и увядшего голубого и теперь носились, играя и кувыркаясь среди всего этого. Он наблюдал, и он улыбался, и он улыбнулся мне, когда я явился из тьмы, сказав про себя: «Вот он я, Доэг», а затем: «Вот мое ощущение, что я разделяю со своими неведомыми друзьями, моими другими "я"».

Алси тоже была там, как я затем увидел, но сидела в стороне от нас обоих. Она что-то держала в своих больших руках, на которых даже не было варежек, склонившись над этим в печали. Один из детенышей был болен или уже умирал, и Алси пыталась оживить его той жизненностью, что еще оставалась в ее охлажденных руках. Она раскачивалась, не отдавая себе в этом отчета, вперед и назад, из стороны в сторону, и я видел, что это был протест или требование ее страдающего и изнеможенного тела, утверждение, что в нем еще сохранилась сильная и борющаяся жизнь, — и равным образом это было отражение боли в ее разуме. И снова я подумал, как тесно связаны тело и разум, как одно затрагивает другое — и все же в огромных пространствах между биениями, которые есть частицы частиц частиц частей нашей физической сути, нет никаких при-

знаков, например, печали или любви. Любовь, любовь — это она горевала в каждой крохотной части большого, но исхудавшего тела Алси, ибо девушка знала — ее ужасная боль показывала, что знала, — что эта смерть означает другие: отпрыски двух ее любимцев, эти прелестные, очаровательные малыши, тоже вскоре умрут, ибо они не в состоянии вынести жизнь.

— Осознаешь ли ты, Джохор, — сказала она ему тем же строгим обвинительным тоном, каким порой обращался к нему и я, — что с нами, на нашей планете, не осталось потомства? Детеныши, что родились летом в стадах, умерли: они не были достаточно сильны, и больше никто не рождается — и, за исключением этого сарая, в вольерах только взрослые. Я не могу заставить их размножаться, и что бы я ни делала, ничто не может изменить того, что они чувствуют — или что они знают. — И Алси горько заплакала, припав лицом к крохотному пушистому созданию в ее холодных руках, ибо оно было мертво и уже коченело.

Джохор ничего не ответил, лишь смотрел на нее.

Успокоившись, девушка сказала, все так же в отчаянии, но уже тихим голосом:

— Что нам делать? Когда вымрут стада, вымрут взрослые особи этих снежных зверьков — нам будет нечего есть. Ах, я буду только рада, рада, ведь мне так надоело это мясо, что нам приходится есть, что день, когда я должна буду заставить себя разжевать последний кусок, станет для меня праздником — даже если это будет означать мой конец…

И здесь я заметил, что ей в голову пришла какая-то мысль, потому что выражение лица Алси изменилось, и какое-то время она нас даже не замечала, ее мысленный взор был направлен внутрь. Наконец девушка вздохнула и вернулась к нам. Она осторожно положила потяжелевший холодный комок, совсем недавно бывший очаровательным зверьком, игравшим подле нас, и долго, не отрываясь, смотрела на другого детеныша, который прекратил свою возню и сидел, дрожа, у ее ног. Она наклонилась и нежно погладила его, на ее лице застыла скорбь, но она не взяла зверька на руки.

— Алси, — произнес Джохор, — я хочу, чтобы ты сейчас перестала быть Алси и стала Доэгом.

Она подняла на него глаза. Мы довольно часто меняли свои роли, занимались различными видами работ, становясь на это время Предста-

вителем того, в чем была необходимость, так что для нее не было внове «стать Доэгом», да она и «была Доэгом» совсем недавно, когда пришла ее очередь вспоминать и излагать события, которые мы все должны были непреложно фиксировать, дабы наши летописи содержались в порядке. Она рассказывала о путешествии через страну льда к холодному полюсу, стоя среди нас, Представителей, в то время как мы внимательно слушали; и в процессе этого она и была Доэгом.

— Я хочу, чтобы ты мысленно вернулась в свое детство и рассказала о своих тогдашних чувствах, о чем ты думала и какой ты видела свою жизнь. — Джохор взял одного из пока еще здоровых детенышей, который тут же начал игриво лизать и кусать его пальцы, тереться о них носом и мордочкой, и положил малыша на колени, слегка придерживая руками. Обледенелый сарай наполнило умиротворенное и довольное урчание зверька, а его кроткие голубые глазки моргали с восхищенным узнаванием, которое у детенышей вызывают все их открытия: «Ах, что за чудо этот мир! Какой он прекрасный! Замечательный! Удивительный! Смотрите, что я умею! Смотрите же на меня!» Удерживаемый в густом мехе шубы Джохора, он вытянул белую

лапку, чтобы поймать снежинку, невесть как залетевшую через щели в крыше, а затем, когда снежинка растворилась на меху, малыш потянулся, зевнул, выразив этим телодвижением все свое удовольствие, и заснул, совершенно расслабившись и неописуемо очаровательно положив мордочку на пальцы Джохора.

Джохор ласково смотрел на девушку, чьи глаза наполнялись слезами. Она сняла капюшон, стеснявший ее, и в том же порыве скинула с плеч шубу. Под ней Алси носила изношенные и рваные одежды наших теплых и счастливых дней, и их тоже сорвали ее руки, и теперь она сидела полуобнаженная в гнездышке из меховых шкур.

К тому времени мы уже отвыкли от вида голых тел. Отчасти так было из-за ужасного холода, отчасти из-за стыда. Я не думаю, что Алси собиралась так обнажиться, но ее подталкивала скорбь. Ее взгляд сосредоточился на детеныше в руках Джохора, в чьей неподвижности теперь не было размеренного дыхания сна, но появилась одеревенелость. Ее руки дернулись в сторону зверька исступленным бессознательным движением, кричавшим: «Нет, нет, нет — я спасу тебя», а затем опустились, и девушка снова схватила себя за волосы, ее взгляд остекленел.

— Алси, — позвал ее Джохор и положил на обледеневший пол рядом с собой маленький трупик.

— Я родилась… родилась, но этого *я* не могу помнить, и вы знаете это, но, полагаю, я радовала всех, как этот крохотный зверек только что радовал нас, своим обаянием и своей непосредственностью. И я выросла — хотя я не помню, как, но это наверняка происходило под руководством и опекой Канопуса, поскольку это сущность нашей жизни и нашего бытия. И я узнавала себя все больше и больше, каждый день думая все чаще: «Вот она я, Алси», — и мое ощущение себя тогда находилось не столько в моем теле, хотя я и наслаждалась им, сколько где-то в другом месте… Может, в *тебе,* канопианец, — но тогда мы не должны этого знать, правда? Но я помню, как я, бывало, приходила в себя, маленькой девочкой, наполненной удивлением, наслаждением, чудом, точно так же, как и этот бедняга буквально мгновение назад. А затем внезапно произошло что-то еще, у меня выросла грудь и…

Какое-то время Алси сидела, уставившись перед собой, потом ее кулаки расслабились и ее руки стали опускаться, и она чуть тронула верх груди, а затем ее руки, не веря и отказываясь принять, скользнули ниже… Мы увидели ее грудную

клетку, туго обтянутую желтой кожей, так что проглядывала каждая кость — но где же были ее груди? Руки девушки ползли все ниже, взгляд оставался бессознательно сосредоточенным на чем-то впереди, она отдернула еще остававшиеся одежды, и мы увидели на нижней части ее груди два кожистых мешочка, заканчивавшихся твердыми бугорками, на которых темнели коричневые складки — соски. Алси взяла эти бугорки в свои большие, все еще сильные руки, затем выпустила и стала водить руками по плечам, на которых под натянутой кожей ясно виднелись кости и суставы.

Она уже не плакала, не горевала, но на ее лице было выражение, как у человека, который отчаянно пытается принять невозможное. Перед нами предстало сморщенное от голода тело старухи, древней старухи, и ее лицо тоже было открыто нам — исхудавшее, землистого цвета, с провалившимися черными глазами. И все же в запавших глазницах было нечто уязвимое, нечто все еще свежее и молодое, и я мужественно размышлял: «Что ж, когда нас, Представителей, увезут отсюда и мы снова будем питаться, как положено, тогда Алси вновь станет юной девушкой, еще не слишком поздно, и…» Но эта мысль погру-

зилась в глубины моего разума, и ей там стало не очень уютно. «Нет, — решил я, — нет, это не то, не то — мне нельзя сочинять эти сказки и выдумки, утешая себя, думая, как нужно утешать других».

Алси натянула свои многочисленные лохмотья на покрытые кожей кости, укуталась в плотную шубу, накинула капюшон, и вновь от нее остались лишь решительные темные глаза, смотревшие из-под засаленных косматых шкур.

— Алси! — окликнул ее Джохор.

— Что ж, ладно! Я родилась… и теперь умру. Нет, Джохор, раз ты хочешь, чтобы я рассказала, как я вижу свою жизнь, то тогда я вижу ее действительно так, все чаще и чаще… Скажи мне, когда ты оглядываешься назад на свою жизнь, ты… Нет, это бесполезный вопрос, я понимаю это, еще даже не задав его. Вы живете настолько дольше нас, что, когда вы смотрите на нас, вам должно представляться то же самое, что и нам, когда мы смотрим на эти маленькие создания, чьи жизни столь коротки — или же им, когда они смотрят на снежных жуков! И все-таки я спрошу, ибо это переполняет мой разум, Джохор, я не перестаю размышлять и гадать, как вы — вы, люди с вашим канопианским умом — как вы переживаете свои воспоминания? Ведь ты хочешь, чтобы я именно

это сейчас рассказала, так? Память, нечто тонкое и прозрачное, — все, что остается от жизни, когда ты ее прожил? Ощущаешь ли ты, будто для твоей жизни она несущественна? Нет, конечно же, нет, но я все равно должна спросить. Ощущаешь ли ты, что мог бы выдохнуть свои воспоминания одним сильным выдохом? Ибо вот как я вижу свою жизнь — как обрывок ткани, валяющийся в углу, как кусок искусно раскрашенной ткани, чьи цвета блекнут перед моим взором: память — воспоминания, ибо от моей жизни ничего не осталось! Да, я знаю, что умру раньше, чем умерла бы при нормальных условиях, но если жизнь хоть чем-то является, тогда и треть жизни — что-то, а я прошла треть отведенного мне пути. Она ничто, моя жизнь, маленький сон: я клянусь, канопианец, что когда я прихожу в себя после сна, мои сны иногда кажутся мне более живыми, нежели сама моя жизнь. *И все же* — здесь-то мне и приходится обдумывать, размышлять и по-прежнему не видеть во всем этом смысла, когда заканчиваю — когда я начинаю день, я словно должна взобраться на холм, затащить наверх груз, нечто, в чем есть бремя противоречия. Иногда, когда я просыпаюсь, я не могу перенести длинный трудный день впереди. Часто в

середине дня мне кажется, будто он тянется ну так медленно, что я проваливаюсь в сон снова, даже если и всего лишь на несколько мгновений — все, что угодно, лишь бы освободиться от бремени… сознания. Да, от бодрствования в том, что есть склад и содержание дня — как кусок ткани, которую ткешь, узор которой ты волен выбрать, но не волен *не* ткать ее, не можешь отказаться от того, чтобы закончить, потому что такова поставленная задача. Иногда я стою в одном из вольеров снаружи, под снегом, падающим каким-нибудь образом, одним из тысячи — легким или обильным, задуваемым со стороны или прямо, мокрым или сухим, крошками или же крупными мягкими хлопьями, когда слепляются снежинки, — я смотрю и чувствую, как будто каждый шаг, что я делаю сюда, где есть пища, где передо мной стоит задача вывезти всю ее и распределить, а затем проверить, что со снежными зверьками, сколько из них умерло… Все это так тяжело, Джохор, словно каждый атом моего тела находится под принуждением. И все же я делаю это — и, сделав, говорю: «Готово, я завершила это, я выполнила задачу, и впереди следующая — собрать остальных, кто поможет Алси заготовить корм для зверьков или что там еще нужно

сделать затем». Целый день — одно тягостное усилие за другим; а затем день заканчивается, и вот блаженная ночь, и я оглядываюсь назад на день — он прошел! Небольшое расцвеченное пятно мысли, несколько картинок, пробегающих вместе, сцена со мной, когда я стою в вольере, а вокруг меня собираются зверьки в ожидании пищи, или когда я согнувшись иду сквозь пургу, и, быть может, чувство холода у шеи или онемевших промерзших ног. День! Память о дне! День, который так тяжко было завершить, а когда он закончился — ничего! Жизнь… воспоминания о жизни. Конечно, канопианец, здесь кое-что не стыкуется, не согласуется должным образом, да? Мне кажется все более и более невозможным, *неверным,* что действительное свершение дела, его переживание, имеет своей тенью столь скоротечную и расплывчатую запись: память. И я спрашиваю себя все чаще и чаще: для этого нам и нужен Доэг? Что такое Доэг, как не попытка, даже отчаянная и, возможно, трагическая попытка, сделать расплывчатую окрашенную тень, память, насыщеннее? Придать нашим воспоминаниям больше содержания? Не это ли и есть Доэг — и зачем ты хочешь, чтобы я сейчас, в это время, была Доэгом?

— Не знаю, что у тебя за имя, когда ты задаешь эти вопросы, но оно не Доэг!

Тут Алси улыбнулась в ответ на его замечание и какое-то время сидела молча, размышляя.

— Ладно, — начала она снова, — но мне представляется: то, что я должна запоминать, — *ничто,* Джохор; и это все заканчивается, уходит под лед… Когда я начала осознавать саму себя, проникать в это чувство, «вот она я», я жила в доме со своими родителями. Ты заходил к нам однажды. Наш дом располагался в маленьком городке из той группы городов, где занимались производством тканей. Каждый город был чем-то известен. В нашем городе непосредственно делались ткани. В городе через долину изготавливались станки для их производства. С другой стороны нашего холма располагался город, где все были заняты на производстве красителей. Одни были натуральными, которые мы сами научились делать из растений, глины, камней, другие же были искусственными, и именно Канопус заставил нас мыслить таким образом, что привело нас к открытию, как выделять красители. Другой город по соседству изготавливал все виды пряжи и ниток. Скопление городов так вот и выросло, ничего не планировалось — и теперь,

когда я думаю о том времени, то прихожу к выводу, что его характеризовала естественность в развитии и происхождении вещей. Но случилась перемена, не так ли, Джохор? Был момент, когда наша жизнь, вместо того чтобы являться функцией окружающего, развиваться из того, что есть, стала более… сознательной — это верное слово? Можно ли использовать это слово для коллективного взгляда на…

— Алси, — осек ее Джохор.

— Да. Ладно. Я росла, как росли тогда все дети. Мы учились всему, что должны были знать, у окружавших нас взрослых. И теперь я *должна* сделать замечание, что это происходило бессознательно, Джохор! Как со стороны детей, так и со стороны взрослых! Это было до того, как появился Педуг…

— Нет, до того, как Педуг стал считать, что имя необходимо.

Она задумалась над этим и наконец кивнула.

— Да. Ибо, конечно же, дети должны учиться тому, что необходимо — а то, что необходимо, должно меняться. Все взрослые были Педугом, раз дети учились — так же естественно, как и дышали — у взрослых. Но затем произошла перемена, и она случилась тогда, когда ты, канопианец,

привез прибор, который делал маленькое видимым — да, Джохор, именно тогда и исчезла определенная естественность и приятность. Это произошло не только потому, что вы привезли лишь несколько этих приборов, — ведь, конечно же, вы не могли обеспечить ими каждую семью, даже дать по одному каждому городу! Нет, вы привезли нам столько, сколько смогли, но для того, чтобы каждый на нашей планете смог посмотреть и узнать, из чего мы в действительности состоим, приборы приходилось перевозить с места на место. Педугу. И впервые дети и молодежь оставляли круг своих родителей и друзей-взрослых, собирались вместе, когда детей учили в определенное время и в определенном месте, рассаживались вокруг Педуга и обучались. Какой же исключительной, какой же безусловно коренной переменой это было, Джохор! И конечно же, вы знали об этом, вы все просчитали и поняли, что происходящее должно изменить то, как мы все смотрели на самих себя. Ибо раньше дети никогда не оставляли своих родителей, родственников и друзей, всех, кто нес за них ответственность, и едва ли осознавали, чему же они учились, ибо это происходило повсюду, постоянно, всеми возможными способами. Я, например, зная все, что

только можно знать о процессе производства тканей, не знаю, как я этому научилась! Но когда я сидела на широком просторе, слушая Педуга, который заставил меня взяться за этот прибор, заставил меня посмотреть на то, что было там, и заставил меня думать об этом — о, вот тогда, Джохор, все действительно изменилось. Мы стали осознавать, что мы учим и как мы учим… И это произошло как раз в то время, когда мы увидели субстанцию наших тел и обнаружили, что она исчезает, когда мы смотрим, и узнали, что мы есть танец, блеск, непрерывное вибрирующее движение, течение. Узнали, что большей частью мы состоим из пустого пространства, и что когда мы трогаем руками свои лица и ощущаем плоть, то это иллюзия, и что когда наши руки ощущают теплую твердость, то в действительности это иллюзия трогает другую иллюзию — и все же, Джохор, за всю свою жизнь, которая, конечно же, окажется столь короткой и, возможно, совершенно не заслуживает того, чтобы называться жизнью… Ты хочешь сказать, что я снова отвлекаюсь, не придерживаюсь темы, не делаю того, что ты просишь! Но, Джохор, разве это само по себе не является иллюстрацией того, что я тебе говорю? Я просто не могу не думать постоянно о

том, что представляется коротким и — по крайней мере, вначале — восхитительным сном…

— Ты жила со своими родителями в доме в…

— Я родилась в Ксодусе, одном из четырех городков, занимавшихся производством тканей. Когда я была маленькой, оба моих родителя занимались ткачеством, хотя позже они стали Педугом и часто отсутствовали дома, путешествуя по нашей планете с новым прибором, обучая новому образу видения и мышления. У меня было два брата и две сестры, и мы все познавали ремесла нашей группы городов. Что касается меня, в течение того времени, когда родители брали меня во всевозможные места, дабы понять мой характер, меня отправляли на ферму, в часе ходьбы от нас, где выделывали овечью шерсть для наших ткачей. Вся наша семья жила на той ферме по нескольку недель, но моих братьев и сестер не привлекала там никакая работа, в то время как мне было интересно. Я сказала родителям, что хочу быть Алси, стать одной из тех, кто занимается выращиванием животных. Ею я и стала, еще совсем юной, ибо я часто бывала там и согласилась, когда подошло время, пойти на этой ферме в ученицы, и я полагала, что проведу там всю свою жизнь. Но затем настал холод… И теперь

вся та жизнь, города, животные, деревья — все, все скрылось под толстым слоем льда. И именно так я и вижу — подо льдом лежит сон, нечто, для чего не существует субстанции; и все же это была жизнь, жизнь, долгое, сложное развитие жизни, которое… Но это была хорошая, настоящая и достойная уважения жизнь — не так ли, Джохор? Ничего, за что нам теперь было бы стыдно! Хотя говорить об этом нелепо, ибо как можно стыдиться того, чего не *выбирал* — мы ведь не выбирали свою жизнь или как развиваться, как изменяться. Ибо мы менялись, теперь я это знаю, даже до того, как ты привез прибор, в который нам всем приходилось смотреть и узнавать, что наши «я», то, как мы ощущаем себя, есть полнейшая иллюзия. И, быть может, те перемены вовсе не были к лучшему? Откуда нам теперь это знать? *Ведь я и вспомнить-то толком не могу!* Я разговариваю с другими, кто рос вместе со мной, — то есть с теми из нас, кто еще жив, кто еще ходит прямо, пытаясь работать, вопреки пурге и бурям, — и мы все помним разное. Не странно ли это, Джохор? Поэтому, хотя мы все и соглашаемся, что да, происходили перемены и что эти перемены можно было бы описать, сказав, что из нашей жизни исчезла невинность, сказав, что возник

новый тип самосознания, еще даже до появления нового прибора — мы совершенно не можем согласиться, в чем же заключались эти перемены. Я говорю: помните то-то и то-то? А они говорят: нет, но ты, конечно же, помнишь?.. Джохор, здесь есть нечто невыносимое, разве ты не видишь? Разве ты не согласен? Разве…

— Алси, — произнес Джохор.

— Дом, в котором я родилась, был подобен всем нашим тогдашним домам. Мы, бывало, возводили дом за несколько дней, и приходили, наверное, человек сто и помогали. Мы устраивали пиры и празднества, когда решали, что настало время построить новый дом. Дом мог быть целиком из тростника или из тонких деревянных планок, скрепленных веревками. Крыши и стены всегда делались раздвижными, так что мы могли открывать и закрывать их, когда менялся ветер или шел дождь. Дом тогда менялся постоянно — опускались или поднимались стены, сворачивались крыши, и люди приходили и заходили весь день и всю ночь, ибо у нас не было строгого предписания, когда надо спать — днем или ночью. Жизнь была общинной, свободной, беспечной, и нам было легко друг с другом — я ведь заметила, что с тех пор, как наступил холод и те трудности,

что мы сейчас испытываем, нам тяжело друг с другом, мы порицаем и требуем, и нам на ум без труда приходят грубости, хотя прежде этого не было. Именно это я и вспоминаю чаще всего о нашей прежней жизни — какой плавной она была, какой приспособляемой: дома, улицы и города менялись, словно растения, поворачиваясь то к свету, то от него. Как мы, бывало, сносили дом за один день, а на следующий возводили другой. Как мы на ферме передвигали ограждения для животных чуть ли не ежедневно, как мне теперь кажется; как постоянно перестраивались даже склады и другие здания, которым приходилось придавать некоторую основательность. И еще я помню, как, когда появилось новое здание для только что изобретенного станка, чтобы изготавливать ткань гораздо быстрее, мы все стояли вокруг него, испытывая неловкость и чувствуя какую-то угрозу. Оно не было одним из тех привычных зданий, легких, тенистых, продуваемых ветерками, которым мы могли придать новую форму, всего лишь потянув за веревку или убрав переборку; нет, оно было построено из камня и земли, и у него имелась прочная крыша, так что нашему старому образу жизни вызов был брошен еще перед холодом, перед Великим Льдом, и я

думаю…

— Алси, опиши себя, как если бы ты была кем-то другим, как если бы ты рассказывала историю. Возьми какое-нибудь происшествие, которое помнишь, любое происшествие.

— Хочешь происшествие, Джохор? Сказочку? Как же я боюсь этих маленьких происшествий, что хранятся в наших воспоминаниях! В наш дом приехали жить бабушка с дедушкой, мать моего отца и отец матери — и этих двух стариков каждый день приходилось кому-нибудь да слушать. Мы выслушивали их по очереди, это было своего рода задание. Ибо запомнившееся всегда было одним и тем же. Оба этих старика, бывало, сидели там — не вместе, так как старухе нравилось быть на солнышке, старик же выбирал тенек, да и в любом случае старики предпочитают общество молодых, а не друг друга — так вот, они сидели там, и когда кто-нибудь из нас приходил послушать, рассказывали в точности одни и те же происшествия, теми же словами — свою жизнь. Цепочка из нескольких событий, всегда одна и та же. Мы, дети, выслушивали эти одинаковые слова в десятый раз, затем в сотый, а затем и в тысячный. Жизнь. Что они ели в такой-то день, чуть ли не сто лет назад. Что кто-то

там сказал пятьдесят лет назад. Снова и снова. Память… И вот теперь ты хочешь, чтобы я создала воспоминание, которым буду донимать своих внуков — но, конечно же, у меня их не будет, так что им ничто не угрожает! Что ж, хорошо, Джохор. Одним теплым и приятным вечером я вышла с фермы, чтобы навестить свою семью, и по пути случилось нечто, чего я не ожидала. Я не прошла и нескольких минут, как увидела впереди… Я вижу себя, как я иду там, девочка примерно двенадцати лет. Девочка эта высокого роста, худенькая, вокруг ее пояса обвязана яркая зеленая ткань, а вокруг груди, которая только начала появляться, — красная. Она несет родителям гостинец с фермы, немного разделанного мяса. Мясо привлекает птиц, которые собираются в воздухе над ней. Поначалу девочка не обращает на них внимания, идет себе, размахивая корзинкой, очень гордая тем, как красиво она выглядит в новых цветных тканях и с появившимися бугорками грудей. Внезапно девочка замечает тени, мелькающие вокруг нее по тропе и траве, смотрит вверх и видит парящих в воздухе как раз над ней огромных птиц: когти сжаты, клювы направлены вниз. Малышка кричит на них — и понимает, что ее голосок тонок и слаб, и она

слышит громкий крик одной птицы, и ответный другой. Птицы уже бьют крыльями прямо над ее головой, пытаясь напугать ее. Девочка ощущает на щеке горячее дуновение от крыльев, чувствует теплую вонь. Она не отдаст свою корзинку, не отдаст; и тогда птицы пикируют прямо ей в лицо и на какой-то миг даже садятся ей на голову. Бедняжка чувствует острые когти на коже под волосами, роняет корзинку и удирает. Оглянувшись назад, она видит, как три птицы усаживаются у мяса, выпавшего из корзинки. Девочка выкрикивает в их адрес всевозможные оскорбления: «Вы, грязные прожорливые животные, вы, ужасные твари» — а они улетают себе в голубое небо, держа в когтях красные куски мяса, и ее корзинка валяется пустая, испачканная в коричневой пыли. Малышка подбирает корзинку и бредет с ней домой, заранее подбирая слова, чтобы рассказать об этом родителям — и поскольку она сделала это, постаралась найти подходящие слова, которые превратили ее бедственное положение там, на дороге меж фермой и городком, в способную вызвать сочувствие и интерес историю, так что все они — родители, братья и сестры, дедушка с бабушкой, друзья, соседи — приходили, слушали ее и порой даже говорили: «Бедная Алси, ты, на-

верное, перепугалась», — так вот, поскольку она сделала это, происшествие запало ей в голову, и она могла видеть его так ясно, словно стояла у дороги и наблюдала, как мимо беспечно прошла девочка в ярких тканях, как над ее головой слетелись большие птицы, посовещались и решились спикировать через теплый воздух прямо на девочку, готовые биться и сражаться своими сильными расправленными крыльями.

— Продолжай, Алси. Помнишь ли ты, что произошло, когда ты добралась до дома, когда ты рассказала свою историю и внимание слушавших тебя обратилось на что-то другое? Помнишь ли ты, как…

Но мне больше не довелось услышать, как Алси напрягала память, ибо под визг ветра отворилась дверь и вошел посланник, направленный ко мне Братчем: требовалась моя помощь. Я должен был на какое-то время стать Братчем, как Алси была Доэгом, и я вышел в ветер, дувший прямо из земель над нашей стеной, заходясь в непрерывном истошном вое.

Я брел по рыхлым сугробам, держась за девушку, пришедшую за мной, а она льнула ко мне, и мы пробили себе путь за наш город в пустынную тундру, где кроме неистово мчащегося снега

ничего не было видно — и так, медленно и мучительно, двигались до следующего города.

Ко времени, когда мы добрались до места, пурга стихла. Мы вошли в город, который практически был полностью засыпан снегом. Мы пробивались через высокие удушающие сугробы рыхлого снега, навалившиеся выше даже окон первого уровня, и в некоторых местах были заметны движения и толчки, словно повсюду вылуплялись из яиц какие-то твари. Мы подошли к зданию, где гладкий снег доходил до потолка первого уровня, но к двери уже был прорыт туннель, через который мы и попали в зал, служивший местом собраний и дискуссий, и теперь заполненный сидевшими — а вовсе не лежавшими в этом состоянии полусмерти летаргического сна — людьми, которые ожидали меня и остальных из близлежащих городов. Ибо появилась новая угроза, и вскоре я узрел ее сам, когда вся наша компания вышла наружу утром, к холодному и тусклому солнцу, светившемуся далеко в бледном, подернутом дымкой небе. Однако наши взоры были прикованы не к этому довольно редкому зрелищу — солнцу в безоблачных небесах, — но к стене, что проходила как раз за окраиной города. Над ней вздымались привычные свирепые гребни и

наросты льда; однако сама стена была расколота сверху донизу, черным по белому, ибо внутренняя часть стены пока не покрылась инеем и не потускнела. Это отчетливое, яркое, черное поразило наши взоры, и мы стояли, уставившись на него, и в течение этого времени трещина с рокотом расширялась, повсюду слетали куски льда, порой угрожая нашим бедным незащищенным лицам, а с верха стены падали тучи снега. Внезапно выпятилась сама стена, и под чудовищным весом льда ее верхняя часть раскололась и рухнула почти туда, где стояли мы, и затем вперед устремился лед, сокрушая стену еще больше, — и потом мы стояли на маленькой центральной площади города, прямо на которую шел ледник. Стена в этом месте более не существовала — исчезла.

Мы все знали, что произойдет и в чем заключалась опасность для наших людей: еще до того, как послали за мной и другими, кто на время станет Братчем, они уже побывали во всех жилищах города, заставляя их обитателей выходить наружу, разрабатывать новые планы действий и убираться от этой ставшей опасной стены. Но те ни за что не хотели шевелиться, их нельзя было заставить подняться. На запасы стимулирующей замерзшей воды, со сверкавшими в ней цветками

и листьями, не обращали внимания — во всяком случае, ими воспользовалось лишь несколько и без ее помощи деятельных человек.

Нам приходилось заставлять людей просыпаться и выходить из темных пещер, в которые теперь превратились их жилища, и обдумывать, как создать новые пристанища, и делать все быстро, ибо мы уже слышали треск и скрежет льда, когда он проталкивался и тек над нами к бреши в стене, которая разрушалась все быстрее с обеих сторон от трещины, теперь уже полностью забитой льдом.

Главной трудностью — еще более серьезной, нежели вопрос постройки новых жилищ — был страх, угнездившийся в наших умах. Ибо произошло нечто новое, невозможное и убийственное: Канопус ошибся. Стена, наша стена, отнявшая у нас столько сил и материалов, появившаяся благодаря Канопусу — и построенная в точности согласно мельчайшим указаниям Канопуса, — сломалась, рухнула, и наверняка не только в этом месте, но и в других, о которых мы еще не знали — и, возможно, так и не узнаем, поскольку теперь путешествие было таким тяжелым и медленным. Стена появилась, чтобы оградить нас ото льда, пока не придет Канопус и не заберет

всех нас на прекрасную Роанду, на эту райскую звезду, которую мы так часто искали в небе, а затем восторгались ею как глазами, так и разумом. Но стена не оградит нас… А Канопус, в образе Джохора, едва живой от голода и холода, такой же, как и мы сами, сидел сейчас в ворохе грязных и тяжелых шкур в сарае, разговаривая с бедной Алси, ставшей Доэгом, — но зачем, ради чего, зачем, зачем, зачем — *зачем он вообще старается?* — вот какая мысль должна была поселиться в наших умах, когда мы стояли и смотрели, задрав головы, туда, где лед продавливал сверху донизу нашу неуязвимую, нашу несокрушимую стену. Если стена поддалась натиску льда, тогда Канопус совершил ошибку, а это означало… И те из нас, Представителей и представляемых, кто говорил — хотя все меньше и меньше — о рае, спасении и флотилии космолетов, которая скоро, очень скоро прибудет и увезет всех нас, умолкли, уже не говорили о спасении… И все же, несмотря на уныние и отчаяние, которые теперь испытывал каждый из нас, и каждый знал, что эти чувства охватили всех нас, необходимо было обсудить, оценить наше положение и пробудить тех сонных и оцепеневших, кто не может или не хочет просыпаться сам. *Но ради чего?* В душе мы все

теперь знали, каждый знал, что они пробудятся и оживут — если нам это удастся — напрасно, ибо флотилия космолетов не прибудет. И все-таки Канопус хотел этого.

Джохор сказал это совершенно ясно и определенно. Он хотел, чтобы до тех пор, пока это было возможно, каждый бодрствовал и был энергичен, а не спал, не пребывал в бессознательном состоянии. И хотя мы не видели в этом смысла и даже усматривали в этом некоторую жестокость, поскольку сон и летаргия служили защитой, ведь люди не желали сталкиваться с реальностью — нам приходилось делать то, что он хотел. То, что хотел Канопус…

Мы — те из нас, в ком была живость — покинули центральную площадь города, которому столь ужасающе угрожал ледник, и вернулись в зал под снегом, и мы сидели там, поедая свою скудную порцию сушеного мяса, и обдумывали, как заставить всех проснуться и работать. Кроме небольших запасов льда, содержащего в себе вытяжку летнего растения, никаких средств у нас не было, и поскольку это было все, до чего мы смогли додуматься — зная, что увещевания, начинающиеся со слов «Канопус говорит…» уже были недейственны, — мы принялись раскалы-

вать глыбы льда на маленькие кусочки. Их мы складывали на подносы, которые специальный отряд разносил по всем темным и провонявшим пещерам, засыпанным снегом. Я, разнося это лекарство отчаяния — я в качестве Братча, — заходил в комнату вместе с другими, кто был Братчем, и мы поднимали спавших, а когда люди начинали стонать после сна, закрывая рукой глаза, уже отвыкшие даже от того тусклого света, что мы впускали с собой из мертвенно-бледного внешнего мира, тогда мы придерживали их и запихивали им в рот кусочки льда, удостоверяясь при этом, что люди проглатывали замороженную воду. И когда на их лицах появлялось оживление, а оказываемое нам сопротивление становилось сильнее, мы поднимали людей на ноги и выталкивали за порог, а затем через снежные сугробы, покрывавшие жилища, на центральную площадь города, куда тянулись языки льда. Толпа этих несчастных, жалких существ стояла там и щурилась на разрушившуюся стену — которая не могла разрушиться, раз ее постройкой руководил Канопус, но все-таки разрушилась, — а затем на медленно надвигающийся ледник. Они таращились, равнодушно поворачивая головы, — поскольку оживление, что придала им

вода, было незначительным, — и большинство выказывало признаки желания побрести назад под снег, чтобы вновь заснуть. Как же сильна эта глубокая, мрачная тяга ко сну, к смерти, к уничтожению; как ужасающе, пугающе сильна она в каждом из нас — ибо и я сам испытывал ее прежде, как эти люди сейчас. Я лежал под наваленными шкурами, отупленный собственным безразличием, и спасся только потому, что другие растрясли меня, преодолели мое сопротивление и вытащили на холодный свет. Заставить их двигаться и простоять достаточно долго, чтобы активный элемент жидкости полностью стряхнул сон, — вот что нам приходилось делать, и мы это делали, даже если нам и приходилось прилагать все свои силы, физические и моральные, чтобы не дать им вернуться вниз в темноту. Мы бились с людьми, и вскоре отряды из них уже трудились, перетаскивая на санях и на всем, что только могло скользить по снегу, лопаты, заступы, сушеное мясо и шкуры на приличное расстояние от города, где мы могли бы воздвигнуть какие-нибудь убежища из снега, ибо больше было не из чего. Их бездеятельность! Отупленное замешательство! Их безразличие! Нам приходилось драться, уговаривать, поддерживать.

Длинные вереницы жителей города ковыляли прочь от него, и это неуклюжее, шатающееся шествие продолжалось до тех пор, пока не пришла ночь, а с ней и пурга. Но мы заставили их двигаться дальше, а на следующее утро настал ясный день, без снега, хотя над нами и проносились низкие и плотные тучи, и снова мы шли до наступления темноты, а следующей ночью нам помогало небо, на котором мы различали очень тусклые, далекие и часто скрываемые облаками звезды. И они ободряли нас, и мы не прекращали движения. На следующий день, оказавшись на расстоянии, которое мы сочли безопасным, мы построили из наваленного снега и кусков льда небольшие домики, со входами через длинные туннели, по которым приходилось ползти. В каждом были груды шкур, маленькие мерцающие светильники, сделанные из животного жира, и запас сушеного мяса. И в каждом поселилось по четыре-пять человек, а то и больше, тут же провалившись обратно в свою летаргию, ибо действие стимулятора проходило. Они были живы: были в безопасности — на время. На столько, на сколько было необходимо… *Необходимо для чего?* Отряды из нас, под руководством Братча, убедились в том, что в каждом убежище был кто-то более

энергичный и живой, нежели остальные — хотя это и немного значило, — и возложили на них обязанность следить, чтобы обитатели снежных домов часть времени обязательно проводили в бодрствовании, чтобы они ни в коем случае не соскальзывали в последний смертельный сон. Ни в коем случае, *ни в коем* случае — и когда их глаза искали наши, молча вопрошая: «Зачем, стоит ли?» — мы напускали на себя уверенность и непоколебимость, которых совершенно не испытывали, — ибо мы *не* чувствовали, что способны ответить: «Потому что так говорит Канопус».

Покинув это небольшое поселение, почти погребенное под снегом, мы отправились в ближайший к нему город, несколько в стороне от того, где Джохор до сих пор сидел и слушал Алси уже в качестве Доэга, и там мы обнаружили, что стена пока еще держалась, однако лед свирепствовал над ней так ужасающе, что она не могла простоять долго. И вновь мы принялись за утомительное, медленное и мучительное дело: будить людей, заставлять их уходить и строить для себя жилища.

И когда был эвакуирован этот город и люди оказались в «безопасности» — насколько это вообще было возможно, — мы пошли в следующий,

и в следующий… Где мы вновь встречали Братча, Братча-врача, занятого пробуждением и увещеванием, ибо вдоль всей стены появлялись черные трещины, и затем она обрушивалась, через нее пробивался лед, и людей уводили из городов, как можно дальше от земель льда над стеной. И так мы все трудились, целые отряды из нас, огромное количество нас; мы, Братч, трудились над спасением душ и тел. И не было среди нас ни одного, кто бы не задавался про себя, втайне, вопросом: зачем? Ради чего? Ведь эти люди здесь и умрут, в своих снежных домишках, всего лишь немногим позже, чем если бы мы оставили их в селениях и городах. Ведь только мы, Представители, будем спасены… Однако эта мысль, как я видел, отнюдь не укоренилась в прочих Представителях, так же как не могла укорениться и во мне, она отвергалась, снова представая в моем сознательном мышлении уже как нечто отклоненное. Нет, мы отвергали не отсутствие справедливости — что мы, немногие, будем спасены, в то время как остальные окажутся погребены на ледяной планете, — ибо *справедливость* есть нечто такое, что понимается не так-то легко. Все было очень просто: в *содержании* мысли, в ее складе и качестве заключалось нечто, что не могло быть принято

нашими умами. Нашими новыми умами — ибо мы понимали, что все в нас было новым, переделанным, переработанным, измененным. Пока мы трудились, боролись, заклинали и заставляли обреченных, несчастных людей пробуждаться и выходить из своей спасительной и приятной летаргии, мы изменялись, молекула за молекулой, атом за атомом. А что же с невообразимо огромными пространствами между частицами электронов, нейтронов и протонов — между частицами, что танцевали, текли и колебались? Да, и в этих расплывчатых структурах, или сетках, или решетках биений происходили изменения, над которыми мы были не властны. Которые мы не могли очертить или измерить. Мысли — но где же они, в пустых пространствах наших тел? — к которым мы некогда относились с терпимостью или с одобрением, как к чему-то неизбежному, теперь нами, теми, которыми мы стали, отвергались.

Когда мы выводили людей из очередного города, или поселения, или деревни прочь от смертоносной стены, сокрушаемой льдом, в белую пустыню, в которой от бурь их укрывали лишь крошечные ледяные лачуги и которая рано или поздно поглотит их, — тогда нам и в голову

не приходило, что наше положение как-то отличается от их собственного. Оба класса обитателей Планеты Восемь, представляемых и Представителей, — подвергались испытанию. В наших умах поселилась мысль, что они изменялись в результате того, что вынуждены были делать мы; а мы изменялись, заставляя их оставаться в живых, в то время как они сами куда охотнее скатились бы от наших общих усилий к смерти.

И так трудились мы, Представители, иногда как Братч Представитель-Врач, иногда как Представитель-Здание (обеспечивая людей кровом и защитой), ибо мы считали, что не можем употреблять собственно слово «Массон-строитель» применительно к той работе, когда приходилось воздвигать лачужки из снега и льда. И еще мы размышляли, могут ли жители какого-нибудь мира, состоящего сплошь из снега и льда, — ибо мы полагали, что в безграничных просторах нашей галактики такие планеты существуют, — довольствоваться подобной жизнью, не зная лучшей. Те из нас, кого возили на другие планеты в рамках нашего обучения как Представителей, встречали такое разнообразие, такие крайности, такие неожиданности, что мы были уверены в существовании народов, которые радовались своим

ледяным мирам, как некогда радовались мы в залитых солнцем благодатных землях собственной планеты, где холодные ветры встречались только в сказках для детей. Да, я помнил, как Доэг — мои родители, старшие, путешественники — начинал повествование следующим образом: «Итак, друзья мои, представьте, что в тот день по небу пронесся очень холодный ветер, то собирая, то раскидывая облака, и он дул по океану с такой силой, что поднимались волны высотой с небольшой холм — да, это правда, именно так и было. А потом…» И все слушали его с недоверием и изумлением…

Пока мы были заняты эвакуацией людей, пришла новость, что наш «океан» — наше маленькое озеро — промерз так глубоко, что в нем уже было трудно найти ту пищу, что еще оставалась. Я отправился туда с некоторыми другими — с Ривалин, Хранителями Озера — сквозь затянувшийся неторопливый снегопад, прекратившийся, когда мы спустились и отошли от срединных земель. Оказавшись в серой пустыне холмов и долин с мучительным белым блеском озера, мы изо всех сил отводили взгляд от него, ибо белое, белое, белое вновь заполонило наш разум и глаза — мы даже ощущали, как его бесконечностью ослепля-

ются наши мысли. Да, даже эта серость, побитые инеем скалы, почва — коричневая и искрившаяся белыми кристалликами — были для нас отдохновением; и так мы потихоньку подошли к озеру, где вдалеке, примерно в центре, заметили небольшое темнеющее пятно скученной активности, суматохи, отдававшей лихорадочной безотлагательностью, и мы пошли по скользкому льду, даже не думая о том, что никогда прежде этого не делали, пока нам не открылось, что во льду была пробита большая прорубь, размером с пруд — черная волнующаяся, плещущаяся вода в неподвижном белом обрамлении, где весьма опасно раскачивались лодчонки, с бортов которых свисали лесы и сети. Вокруг этой проруби, высота краев которой превышала рост самого высокого из нас, стояли те, задачей которых являлось ломать лед, по мере того как вода сгущалась, покрывалась пленкой, затем корочкой, а затем и тонкими пластами льда. Но вода замерзала быстрее, чем было возможно разбивать корку.

Редкий улов морских тварей перебрасывали с лодок на лед и увозили на санях. Припасы эти были крайне скудными — последние продукты из нашего океана. И я видел, как некоторые поднимали этих все еще извивавшихся маленьких

водных обитателей, боровшихся за свою жизнь на морозном воздухе, и впивались в них зубами, охваченные жаждой свежего, заглушавшей все, что оставалось в них от самообладания и сдержанности. И я тоже переполнялся гложущей, мучительной потребностью в этой пище, меня неумолимо влекло по льду к краю проруби, руки тянулись вперед, рот наполнялся слюной, уже ощущая вкус хрустящей солоноватой свежести, — но я остановился, прежде чем поднять что-либо со льда и откусить. Другие тоже, как и я, ковыляли к еде, но останавливались, и мы все задумались о тех, кто голодал в своих ледяных домишках или отправлялся на работу, не позавтракав.

Но то, что было разбросано вокруг нас на ледяном берегу, через очень короткое время уже не проявляло признаков жизни, и пока мы стояли там, сгустились низкие белые облака, начал падать снег, беля черноту воды, и вскоре черный цвет померк, перемешавшись в вихрях с серым, а затем прорубь затянулась коркой льда, и лодки вмерзли в него. Было видно, как люди, занимавшиеся еще недавно ловлей, переступали через борта, пробуя на прочность новый лед, вставали на него и затем быстро бежали прочь, поскольку

лед прогибался и трещал под ними, до краев проруби, где им приходилось подпрыгивать снова и снова, пока не удавалось зацепиться руками за ледяной обрыв. Тогда мы могли вытянуть их наверх. И там мы все и стояли, в последний раз как Ривалин, Хранители Озера, стояли долго, размышляя о наших священных водах подо льдом и тех немногих тварях, что остались замурованными там, с удушающим холодом над ними и белизной, что опускалась все ниже и ниже, давила на них, вталкивала в илистое дно и наконец приканчивала, когда вся вода замерзала.

Когда мы развернулись, чтобы идти назад, казалось, что все небо перед нами обратилось в стену или обрыв замерзшей воды, ибо от зенита до наших ног все заволокло удушающим белым, и, вглядываясь перед собой, мы ничего не различали, даже вздымающегося рушащегося гребня стены. Многие из нас полагали, что бессмысленно идти назад в эту леденящую белую мглу, в эту неизбежную смерть. Но мы все-таки пошли, и всё шли и шли, и когда добрались до первого поселения из ледяных лачужек и заползли в одну из них, кашляя и щуря глаза из-за едкого дыма от горящего жира, из-под груды шкур показалось лицо, и мы услышали: «Кто-то пришел. Сейчас

то время, когда Представители ходили на полюс. Там снова лето». Говоривший закашлялся, и лицо снова исчезло в полумраке, под ворсистым рукавом, а мы поползли назад по ледяному тунелю, и все вместе встали в низине, в пурге, и задумались о голубых цветках и мягкой сочной зелени прошедшего лета. Мы нашли сани, на которых перевозили мертвых морских тварей, и отправили в бурю посланников с сообщением, что разыскиваются запасы волшебного голубого растения — и пятьдесят нас, Представителей, отправились на поиски лета. Снова мы двигались в узком пространстве между давящими белыми облаками и вздымающейся белизной земли, подгоняемые ветром в спину, и снова темными ночами ютились в снежных пещерах, которые сооружали с приходом сумерек. И нам казалось, что страшная темень ночей становилась короче, и мы верили, что скоро доберемся до летних земель. С каждой возвышенности или холма мы вглядывались вперед, изо всех сил напрягая глаза и разум, пытаясь пронзить всепоглощающую белизну, дабы увидеть, не покажется ли наконец на небе проблеск голубого или хотя бы светло-серого. Но затем мы поняли, что уже зашли туда, где в прошлом сезоне заканчивались снега и начина-

лась открытая тундра. Нас по-прежнему окружал снег. По-прежнему мы пробивали себе путь, пока с вершины горы не увидели столб, или шпиль, или колонну, что отмечала полюс, а вокруг нее — однако не слишком широко — раскинулась сероватая зелень вересковой пустоши. И не было никаких цветов и вообще тех растений. Не было и каких-либо признаков животных. Но в нас уже не было душевных сил задаваться вопросом о стадах, ибо то, перед чем мы стояли — мы знали это, — было концом планеты. Именно там нам и пришлось окончательно признать завершение наших перемен, наши находчивость и выносливость потерпели поражение. Когда мы достигли местности, где снег поредел или лежал влажными желтоватыми наносами, словно крупный мокрый песок, и остались лишь его прожилки да пятна на промокшей траве и болотах — там мы устроились, пытаясь почувствовать, что в далеком солнце есть хоть какая-то энергия. Мы смотрели вперед, на расстояние однодневного перехода до высокой колонны, но, увы, нам открывалась лишь была темнеющая земля с изредка встречающимися на ней небольшими участками тусклой зелени да серыми пятнами.

У нас осталось очень мало провизии, лишь

несколько кусочков сушеного мяса. Но нам не хотелось есть. Пока мы, столь малым числом, выжидали там, не зная, что и думать или планировать, мы как будто превзошли потребность питаться, или добывать пищу, или поддерживать наши столь прискорбно истощенные и изнеможенные тела, дрожавшие в толстых меховых шубах, которые мы и не снимали, — поскольку было недостаточно тепло, чтобы обходиться без них. Наши взоры притягивал высокий точеный шпиль колонны, что поставил там Канопус и так долго использовал в качестве ориентира для своих космических кораблей. Его полное совершенство в пропорциях, его устойчивость, даже то, как он был установлен относительно склонов холмов и неба, — все говорило о Канопусе, Канопусе, — но не о нашей планете; и единственное, что было в наших мыслях, пока мы ожидали там, вглядываясь в этот шпиль, был Канопус, который придет, чтобы спасти нас.

Тем не менее я знал, что никакой флотилии космолетов не будет — теперь я знал это, как никогда прежде, со спокойной и ясной уверенностью, которая порождала — да, надежду, но того рода, что была мне незнакома. Вера, что у нас была, да еще столь долго — по крайней мере

у части из нас, — в то, что однажды наши небеса вспыхнут и засияют повсюду, наводнившись канопианскими космолетами, и что *затем* все наше страдающее население обретет безопасность «среди звезд» — это было упование на будущее. Но оно не было будущим, продолжавшим наше прошлое. Тогда-то во мне и произошла подлинная и окончательная перемена — в тот самый момент, когда я наконец оставил старые надежды и мечты и твердо смотрел на совершенство этого высокого черного шпиля, все еще отражавшего свет небес, как и некогда наша стена, в те далекие времена, когда она еще была чистой и нетронутой холодом. Внутри меня забил какой-то маленький источник силы и уверенности, и я почувствовал себя несокрушимым, и понял, что становлюсь сильнее. Эта сила была тем, чем был я — я, Доэг; и по ней — подобно тому, как облака и птицы плывут по небу, совершенно его не изменяя, — потекли мысли и чувства. Среди них была хотя и очень слабая и даже довольно нелепая, одна знакомая мысль: «Однажды придет Канопус и спасет нас...» И когда я смотрел на лица своих друзей — лица, знакомые мне так же, как и мое собственное, — мне казалось, что в их глазах, порой представлявшихся мне также и

собственными, я вижу то, что знал для себя как истину. Даже если кто-нибудь из них и сказал бы: «Быть может, они появятся завтра!» — а другой ответил бы: «Или послезавтра, или на следующей неделе — в лете еще достаточно дней или недель, чтобы выжить!» — то эти слова представились бы исходящими из их поверхностной сути, и говорившие даже полностью не отдавали бы себе отчет о сказанном. По глазам своих товарищей я видел, что их ум был занят совершенно иным типом мыслей, или размышлений, или даже убежденности.

Поразительно, как идеи приходят на ум или в умы: в одну минуту мы думаем о том или ином, как если бы не допускали ни одну другую мысль; спустя же короткий промежуток времени в наших головах уже появляются совершенно отличные убеждения и возможности. Как же они там оказались? Как они пришли, эти новые понятия, мысли, идеи, убеждения, выдворив предыдущие, и почему, в свою очередь, в скором времени, несомненно, должны и сами тоже смениться?

Я знал, пока мы все ожидали, дрожа под шубами, с тусклым отблеском солнечного света на лицах, что в то время как мои товарищи бор-

мотали: «Канопус придет, нас спасут» и прочие обрывки и ошметки наших прежних мечтаний, внутри них происходили изменения, в которых они не отдавали себе отчета.

Так мы и оставались там, все вместе на склоне холма, местами поросшего травой да низкими жесткими растениями, с заснеженными землями за спиной, откуда налетали суровые и резкие ветра. Ни один из нас не выказал какого-либо намерения двигаться, или поговорить о нашей ответственности перед населением, или обсудить, что мы должны делать: отправиться ли на поиски пропавших стад, разослать ли послания об их исчезновении или же нечто совсем другое, что при обычных обстоятельствах подняло бы нас на ноги и побудило к деятельности.

Мы вглядывались не только в угрюмые пространства болот и тундры вокруг колонны, но — и даже больше — друг в друга. Все чаще и чаще наши взоры останавливались друг на друге: испытывающе, настойчиво — как будто мы не знали каждого из нас, как знали на самом деле — так хорошо, что в любой момент могли взять на себя работу другого и — в некотором смысле — стать этим другим. Мы пристально всматривались в глаза и лица, словно в них можно было

прочесть много больше, нежели мы когда-либо думали. И вскоре мы образовали подобие круга, и наши взоры были устремлены внутрь этого круга, а не наружу, к крохотным пространствам нашего «лета». Мы смотрели внутрь, словно истина, доступная нам, была там, между нами… в нас… среди нас. В том, что мы были вместе, вот так, в нашей крайности.

И именно в таком состоянии некоторое время спустя нас и нашли Алси и Джохор, вышедшие к нам из белой пустыни, и по тому, как они спотыкались и обходили неровности почвы, было видно, насколько оба истощены. И они рухнули среди нас, и лежали, закрыв глаза. И мы увидели, как желтая кожа обтянула их черепа.

Мы подождали, пока Алси открыла глаза и села, да и Джохор сделал то же самое.

Я спросил у нее:

— Ну и как тебе понравилось быть Доэгом?

Она ответила, улыбаясь:

— Доэг, мне казалось, что когда я говорила, все, что со мной происходило, все мои мысли и все мои чувства, все, чем — как я считала — я должна была быть, все это слагалось в слова, слова, слова — распределенные, упакованные и отосланные… Да, Доэг, я-Доэг видела, как Алси делала то или

иное, чувствовала то-то, думала так-то — и кто же была Алси? Я наблюдала за ней, видела, как я вела себя среди всех остальных… А теперь я оглядываюсь на себя как на Доэга, сидевшую в сарае с Джохором, я вижу себя там и вижу Джохора — двух людей, беседующих между собой. И кто же был Доэг? Кто, Доэг, есть Доэг? И где же теперь Алси или Доэг — ибо что же теперь осталось от нас? И кому ты, или я, или любой из нас будет рассказывать наши сказочки, петь наши песенки?

И она с улыбкой посмотрела на меня, а затем на Джохора, который лежал, опираясь на локоть, а затем взглянула и на остальных. Медленно она смотрела на одного за другим, а мы все смотрели на нее. Когда Алси вернулась к нам, вместе с Джохором, наше небольшое собрание стало осознавать себя, наше положение, еще более остро. Мы *ощущали* себя так же остро, как и видели — на холодном склоне холма, под низким холодным бурлящим небом, полсотни человек, сидящих вместе, пятьдесят кучек грязных ворсистых звериных шкур, в каждой из которых была заключена дрожащая масса костей и плоти — и мыслей и чувств тоже (но где они, что они?). Мы жались друг к другу, слушая, как бури на горизонте визжат, бушуют и грозят этому нашему

скоротечному лету, которое было не более чем крохотным пространством или временем на самом краю планеты, ибо уже начинал проявляться холод приближающейся зимы. Белое на черном, крохотные белые частицы на черной почве, белые крупицы и кристаллики, усыпающие скалы, серо-зеленые травы и жесткие растеньица — и белые хлопья в воздухе вокруг нас, пока еще немногочисленные, порхающие, играющие в тусклом солнечном свете, парящие и опускающиеся, чтобы улечься на покрытую инеем землю. Высоко над нами, под тяжелыми белыми облаками с черными провалами, кружили огромные птицы снега, белое на белом.

— Если ты больше не Алси, — сказал я ей, — то это означает, что снежные зверьки мертвы?

— Загоны теперь пусты, все до одного.

Мы все смотрели — хотя осознали, что же мы делаем, только потом — на ее руки: эти сплетения тонких косточек, некогда бывшие такими большими и такими умелыми, а теперь становившиеся все меньше, слабее, ранимее.

А *она* смотрела на Джохора. И тот ее взгляд описать не так-то легко. Одно точно — в нем совершенно не было мольбы. И даже потребности в чем-то. Что было в нем, и более всего остального,

так это узнавание его, эмиссара Канопуса.

— Я больше не Алси, — сказала она ему. — Ни в коей мере, ни в коей роли. — Это прозвучало почти как вопрос, и через мгновение она сама и ответила на него: — Где-то еще существует Алси — в другом пространстве, в другом времени. Алси не может исчезнуть, поскольку Алси есть и должна непрерывно воссоздаваться. — Она, по-видимому, снова ожидала, что Джохор заговорит, но тот лишь улыбался. — Хотя мы и не видим их, ведь сейчас день и солнечный свет скрывает эту истину, но наше небо полно звезд и планет, и на них-то и существует Алси. Алси — там я и есть, поскольку так должно быть.

— Поскольку так должно быть, — эхом отозвались голоса из нашей группы.

— Итак, поскольку это не Алси, то кто я тогда, Джохор, *и как меня зовут?*

И я сказал ему:

— Доэг рассказывает истории и поет песни во всех временах и всех пространствах, везде, где люди общаются при помощи звуков, так что, если я больше не Доэг, тогда Доэг все еще есть, и, быть может, когда опускается тьма… — А она опускалась, пока мы разговаривали, и появлялись крохотные далекие звезды. — Поднимая глаза,

мы смотрим на миры, где Доэг выполняет свою работу, ведь Доэг должен быть. Но кто тогда я, Джохор, и как меня зовут?

А затем подал голос и Клин, Производитель Фруктов, Хранитель Фруктовых Садов:

— В нашем мире больше нигде нет ни одного сада, или фруктового дерева, или плода, ничего не осталось от всей этой красоты и изобилия — и поэтому я более не Клин, ибо Клин был тем, что я делал, — Клин трудится где-то в другом месте: там Клин прививает побег к побегу, там Клин выращивает, экспериментирует, создает, это благодаря ему ветви тяжелеют от цветков, а затем и от плодов. Но не здесь, о нет, не здесь, и поэтому я более не Клин. И как же меня теперь зовут?

И Братч:

— Мастерство моего разума и моих рук сейчас в действии, в действии повсюду, где есть создания из плоти и сухожилий, крови и костей, — Братч необходим, и поэтому он должен быть, хотя и не здесь, ибо здесь ему уже больше нечего делать, поскольку во всем нашем мире население умирает в своих ледяных домах. Я не Братч, ведь Братч это то, что я делал, — и как же тогда меня зовут, Джохор, как меня зовут?

И Педуг:

— Повсюду, где вид самовоспроизводится, где непрестанно появляется молодежь, дабы заменить тех, кто должен умереть, там есть Педуг, поскольку Педуг должен быть. Педуг воссоздается всегда и повсюду, во всех временах и пространствах, где он нужен. Так что Педуг не забыт, не исчез, хотя на нашей планете Педуг больше и не существует. Я не Педуг, Джохор, — как же меня зовут?

И так продолжалось с каждым из нас, и тьма сгустилась вокруг, и напев, или песнь, или плач лился всю ночь — один за другим мы спрашивали Джохора, спрашивали его, спрашивали где, как и почему, и сами же и отвечали, отвечали на все, что хотели знать, но всегда заканчивали вопросом, на который не могли ответить сами, поскольку это было выше нашего понимания: что я, кто я, как меня зовут? Или: *как нас зовут?* Мы, Представители, которые уже не представляли ни мастерства, ни умения, лишились своих былых обязанностей, но все так же сидели там — замерзшие, маленькие и столь малочисленные, — на том склоне холма, всю ночь, всю ночь до утра — и затем тускло засияло бледное солнце, сероватый проблеск с сероватых небес, и уже нигде не оставалось никакого цвета, ибо выпал снег, мягко и

тихо, и лишь высокая колонна Канопуса, установленная там, поднималась из чистой мягкой белизны, да виднелись пробивающиеся верхушки низких растений и замерзших мертвых трав.

— Из нас есть один, у кого еще осталось имя, — сказала Алси, когда мы умолкли, ибо каждый уже высказался.

— Но Марла здесь нет, — ответил кто-то. — Здесь нет Хранителей Стад.

— Да и стад здесь нет, им и быть-то негде.

Мы сидели там весь день, пока вокруг нас бесшумно падал снег, ибо Джохор молчал, а мы не знали, что же нам делать.

А когда угас свет, уступив место следующей ночи, из мрака к нам подошли, едва держась на ногах, три фигуры — и рухнули среди нас, дыша глубоко и тяжело, и на какое-то время уснули, а мы ждали. Эти трое были Марлом, и пока они не заговорили, мы не чувствовали, что эта особенная стадия нашего совместного пребывания завершилась.

Ночью они оправились от изнеможения и поведали нам историю стад — да, то был Доэг, кого мы какое-то время выслушивали, Марл в роли Доэга, и вот что они рассказали.

Множество огромных голодных зверей на про-

тяжении нескольких дней сбивались в плотное стадо, когда все вокруг них заваливал снег, создавая естественный загон из сугробов — барьер, который животные не проявляли желания переступать, поскольку весь корм, что оставался для них на планете, сосредоточился в этой маленькой области вокруг высокой черной колонны. Сена с прошлого лета надолго им не хватило, и тогда они объели жесткие растения и горькие травы, а затем и перегной. А снег все наступал на них, и вскоре они стояли вплотную друг к другу, бок о бок — несколько тысяч, великое множество животных, и есть им было нечего. Многие из них умерли, а оставшихся в живых сложившаяся ситуация вынудила проявить смекалку, каковой от них никто даже не мог ожидать: они выталкивали трупы из общей массы живых своими рогами, такими мощными и — как мы подумали, когда увидели этих животных в первый раз, — такими бесполезными: «Для чего же они нужны?» Но животные переворачивали этими рогами почву, когда появилась потребность ею питаться, выкапывали корни из земли, опрокидывали глыбы в отчаянных поисках корма — наконец, выталкивали мертвых с пространства, которое еще хоть как-то можно было использовать.

А потом они какое-то время стояли, повернувшись мордами к миру снега, хвостами к центру — все до единого. Марл, все трое, наблюдая за животными с холмов, испытывали мучения из-за собственной неспособности помочь этим несчастным созданиям, и они видели, как от общей массы со всех сторон отделялись сначала маленькие группы, а затем все больше и больше особей. На глазах у Представителей на протяжении нескольких дней количество остававшихся животных у полюса редело и редело, по мере того как они уходили. Но куда они уходили? Им некуда было идти! С ревом и оглушительным топотом, ударяя копытами по земле и раздирая ее изгибами и остриями рогов, словно желая повредить и изранить то, что больше не обеспечивало их пищей; воя от ярости и отчаяния — глаза красные, дикие, полные бешенства, — стада шумно расходились по всем направлениям со своего последнего пастбища, а затем их шествие, прежде сотрясавшее почву, становилось бесшумным, ибо глубокий снег заглушал грохот множества копыт. Наблюдатели на склонах холмов слышали яростные стенания стад, бросавшихся в бури и исчезавших в них, — и вскоре на полюсе никого не осталось, лишь черная земля, развороченная

рогами, обильно устланная навозом, догола выеденная. И ни одного животного, ни одного. Тогда Марл, разделившись, последовали за стадами в непроглядную пургу, что было непросто, так как из-за густого снегопада не осталось никаких следов. Но наконец каждый из этих Представителей добрался до населенной области, полагая, что животные могли рассчитывать, что там для них найдется корм или, по крайней мере, поддержка людей — кто же мог сказать, что было на уме у этих обреченных зверей, какой степени в подобном положении достигли их ожидания и сообразительность? Но нет, стада протопали к старым деревням и селениям, уже опустевшим, и прошли через них не останавливаясь, за исключением того, что некоторым животным потребовалось дать выход злобе, как это было в южных землях с их старыми пастбищами, когда они вонзали рога в почву, — и они наносили удары рогами по стенам зданий, сараев, загонов и растаптывали все, что только могли, пока поселения не стали выглядеть так, словно люди сами разрушили их перед уходом. И затем стада продолжили путь — держать который было некуда. Там, где стена обрушилась, открыв проходы в ужасающие земли бесконечной пурги, животные

взбирались наверх и вставали в ожидании на другой стороне, теперь уже белые, с потяжелевшими от снега шкурами, выдыхая белый пар в белый воздух, пока к ним не присоединились все разрозненные группы. Собравшись, словно выполняя какой-то составленный заранее план, они ринулись на север, все вместе, ревя и стеная, навстречу верной смерти.

С разных мест вдоль стены, где она обрушилась под напором ледников, Марл видели это — видели, как стада уходили искать смерть. Увидев это и все поняв, они снова встретились и затем, осознавая, что следовать за животными совершенно бессмысленно, ибо тех поглотят бури, медленно двинулись на юг, где, как они знали, будем все мы. Мы, Представители, сидели на заснеженном склоне холма, ожидая. Ожидая, как оказалось, их, ибо Марл — который больше не был Марлом, поскольку на нашей планете нигде не осталось ни одного живого животного — не один, и поэтому Марл трудился где-то в другом месте, должен был трудиться: в других временах и пространствах Марл был и должен был быть. Ремеслом Марла было случать, спаривать, производить, кормить, воспитывать и заботиться о потомстве. Марл не мог перестать существовать, ведь Марл

был нужен. Но здесь, с нами, на нашей холодной планете, Марла не было.

— Поэтому, Джохор, раз мы больше не Марл, как нас зовут? Ибо, хоть я и знаю, что я не то, чем был, что я не Марл, поскольку я был тем, что делал, — пускай теперь я ничего и не делаю, но вот он я, существую как нечто, сижу здесь, среди падающего снега, со всеми нами, и смотрю на тебя, Джохор, а ты смотришь на нас, на меня — и я ощущаю, что я есть здесь, здесь; у меня есть мысли и у меня есть чувства — но где они, что они, эти мысли, эти чувства, в этих мешках промерзших костей и дрожащей плоти? Я ведь не ничто, Джохор, так что же я? Если у меня есть имя, тогда что это за имя?

И так было со всеми нами — Джохор с Представителями сидели на холодном склоне холма, а снег все падал, падал, падал, так что мы погрузились в легкий рыхлый снег по пояс, а затем белый покров добрался и до плеч — и сначала один человек, а потом и другой медленно поднимались из этой белизны, словно из воды, стряхивая с себя хлопья, крошки и комки снега, и вскоре мы уже все стояли в сугробе до середины бедра, а снег все падал и падал, и казалось, ему не будет конца. Мы стояли лицом друг к другу, смотря друг другу

в глаза. Не было сказано ни слова о Канопусе, о спасении — весь тот образ мыслей для нас как будто относился к далекому детству, и мы едва помнили, всей своей компанией, какими были в те дни нашего отрочества, и теперь в наших мыслях была совершенно отличная потребность. Затем мы развернулись, и все, каждый, смотрели в сторону, противоположную южной оконечности нашей планеты, отмеченной стройной черной блестящей колонной, которая, впрочем, из-за мороза теперь начала сереть, так что вскоре едва ли будет различимо, где же она стоит среди нагромождающихся сугробов и несущихся снежных облаков. Наши лица были обращены к северу, и мы начали согласованно двигаться, как будто ничего другого нельзя было и поделать, как будто то, что мы должны были делать, было нам предопределено, было для нас неизбежно — мы, как и голодные, изнеможенные стада перед нами, направились в царство зимы; но это была зима, которая вскоре покроет все, заявит о своих правах на все, и наша крохотная планета будет вращаться в космосе, вся белая и сверкающая, озаряемая солнцем и звездами, и затем, когда она вся замерзнет, когда на ней не останется ничего, что жило раньше, — какие начнутся новые процессы

после завершения процесса замерзания? Ибо ничто не может быть статичным, неизменным и постоянным, невозможно, чтобы наш маленький мир вращался в космосе без изменений, навеки оставшись планетой снега и льда: нет, он будет продолжать путь, собирая на себя все больше, как катящийся снежный ком, или совершенно изменится во что-то другое, превратившись в мир, который мы даже не можем представить посредством наших чувств, приспособленных к Планете Восемь — и даже не к этой Планете Восемь, замерзшей, но к старому восхитительному миру времен до Великого Льда… Нет, изменения, которые мы не можем представить, придут — должны прийти — в наш дом, но они не будут иметь к нам никакого отношения, ибо нас здесь уже не будет.

Мы шли дальше, медленно, и прямо в лицо нам дул леденящий ветер, дул безжалостно, не прекращаясь ни на минуту, и днем, и ночью; мы шли, замерзшие, голодные и какие-то нереальные в своих толстых шубах, как будто от нас уже остались лишь кости да куски высохших сухожилий и кожи. И Джохор был с нами, одним из нас, он оглядывался на нас из-под ворсистой бахромы своего капюшона, такими же запавши-

ми глазами, так же болезненно щурясь, как нам всем только и приходилось смотреть — ибо снег слепил нам глаза, разум, и от этого невозможно было укрыться, невозможно было найти мягкую, дружескую темноту, в которой мы могли бы отдохнуть; ведь даже когда тьма все-таки опускалась, света от снега было столь много, что мы не могли сомкнуть веки, они просто не закрывались, оставались открытыми, словно снег и лед были внутри нас так же, как и снаружи, а наши глаза были окнами, что смотрели в обе стороны на пейзажи белого, ровной мучительной белизны.

Почти ослепшие, оглохшие из-за беспрестанно завывающих ветров, онемевшие, умирающие, брели мы мимо снежных лачужек, которые построили, дабы население укрылось в них от надвигающихся ледников, — и не заглядывали внутрь, ибо знали, что там обнаружим. Когда мы проходили через эту область, было очевидно, что скоро эти маленькие наросты из снега и льда, эти маленькие кружки и выпуклости в сугробах, сгинут в белизне, ибо некоторые уже и сгинули, полностью поглощенные ею. Оглядываясь назад с горных перевалов, которые вели в те области планеты, что были так плотно заселены людьми, мы уже не могли и различить, где же находятся

эти ледяные поселения — или находились, ибо бури между нами и ними были так неистовы. Мы продолжали идти, столь малым числом, выискивая на ходу наши старые города, но по ним уже прошли ледники, и мы не видели никаких признаков селений и городов, хотя как-то раз мы все-таки продрались мимо комнаты, выдававшейся из снега, с квадратными проемами по периметру и с какими-то стойками и обломками внутри, которые некогда были мебелью, что рассыпалась из-за холода. Эта комната была самым верхом высотного здания, и мы прошли мимо нее на уровне, где некогда парили и кружили лишь огромные одинокие птицы эпохи холода. А когда мы всматривались вперед, выискивая нечто вроде вала и обрыва, не было совершенно ничего: лед, напирая со стены, разрушил и стер ее, и она в любом случае теперь лежала глубоко под снегом, по гребням и валам которого мы брели. Так что мы пересекли эту нашу выдающуюся стену — неприступную, несокрушимую, непроницаемую: стену, которая так и стояла бы между нами и бедствием, пока не явился бы Канопус со своей флотилией сверкающих космолетов. Мы не знали, когда пересекли ее и оказались в ландшафте, где не было ни гор, ни холмов, если

только они не состояли из льда и громоздящегося снега, ибо все естественные неровности местности были погребены.

Было бы неправдой сказать, что нам шлось легко, ибо мы едва двигались, спотыкались, тащились вперед — однако не потому, что штурмовали спуски и подъемы гор и долин. Все равно это был долгий, тяжкий и унылый труд. Нам не оставалось ничего другого! Мы были настолько пусты, словно ветер выскоблил нас внутри так же, как и снаружи. От нас действительно остались лишь кожа да кости, и наши бедные сердца стучали медленно и неровно, пытаясь толкать загустевшую кровь по ссохшимся венам и артериям. Мы были едва живы, и как же порой нам было тяжело передвинуть эти обезвоженные оболочки даже на пару шагов вперед!

Как же тяжелы мы были — очень, ну просто невероятно тяжелы… Мы отрывали каждую частицу наших тел, преодолевая тяготение вращения планеты, словно прочно удерживались им, а не просто плотностью снега. Тяжелыми, тяжелыми, тяжелыми были усилия нашей смертности; даже если мы все и были прозрачными, словно тени, и плоть на наших костях давно уже истощилась и исчезла. Тяжелыми были наши

шаркающие шаги, что мы делали один за другим, вынуждая, заставляя себя двигаться, и наша воля отбивала в мучительных усилиях наших сердец: «Двигайся… Двигайся… Двигайся… Да, вот так… Еще один шаг — да, вот так… И еще один… Да, а теперь еще один… Двигайся… Продолжай двигаться…» И так было с каждым из нас, когда мы брели там, среди снежных облаков, что висели над сугробами так низко, что даже трудно было сказать, что было атмосферой, а что осадками. Мы были почти призраками, почти мертвыми и все же чувствовали огромный вес, определявшийся нашей волей, не сдававшейся, тащившей нас, — и что это такое, *воля,* которая заставляла нас продолжать двигаться, через глубокие сугробы, к другому полюсу, к дальней оконечности нашей планеты? В этих мешках из костей, кожи и уже ссохшейся плоти, через них, между ними горело что-то еще, *воля* — и где же она находится, это биение или тяга в огромных пространствах, что лежат меж мельчайшей тяги или биений, составляющих атом?

Тяжело, тяжело, ох как тяжело волочились мы, продвигались; мы продирались и словно плыли, дальше и дальше, через снега, а по ночам вместе отдыхали, жалкие призраки, и над нами

ревели ветра и разговаривали звезды. Когда мы достигли места, где, как мы знали, находилось ущелье, в котором тогда поскользнулся Нонни, то там раскинулась лишь чистая и свежая белизна, а пещеры, где мы находили себе кров, были засыпаны и исчезли; когда же мы оказались в высокогорной долине между звучными пиками, где когда-то ложились, чтобы поглядеть на блеск звезд и послушать, как они шепчут и поют, то все, что мы увидели, было невысокими верхушками гор, просто бугорками — и не знай мы, что там раскинулись горы, то даже и не предположили бы, что они стоят там, такие высоченные и остроконечные. Мы сделали привал, когда опустилась тьма, в углублении на вершине одного из холмиков; и зашлись в вое ветры, и мы ощущали, как снег носился, напирал и кружил повсюду вокруг нас — а на утро перед нами предстало изумительнейшее зрелище. Ибо мы ютились на верхушке огромной горы: за ночь ветры расчистили долину от рыхлого снега, и мы увидели ее как в прошлый раз — свободную. Характер и движение ветров были таковы, что сначала они засыпали долину, а затем вычистили: снежные массы перемещались по всей планете — наваливались в горы, и потом их снова сдувало, они нагромождались, но бури

смахивали их, чтобы свалить в другом месте. Мы смотрели вниз на прозрачный сверкающий лед, протяженностью во много дней пути, глубоко внизу, между гигантскими обледенелыми черными пиками. Все, на что мы смотрели, отдавало зеркальной величественностью, наполнявшей болью наши умирающие глаза; и, вглядываясь через край крохотной долины, на которой мы оказались на вершине горного пика, мы поняли, что уже не уйдем отсюда. Как могли мы, такие ослабевшие, спуститься по этим ужасающим обрывам? И вот мы, в последний раз с нашими прежними глазами, сели тесным кружком и смотрели друг другу в лица, пока у одного за другим они не стали закрываться смертью, и наши мешки с костями упокоились внутри меховых шуб, так что, уносясь с этого места и видя глазами, об обладании которыми мы и не подозревали, все, что нам довелось увидеть, было неким подобием стада животных, скорчившихся в сне или смерти там, на вершине горы.

Мы продолжили путь вместе, теперь легкие, такие бодрые и свободные в движении, что не могли без недоверия и ужаса вспоминать о нашей столь недавней чудовищной тяжести, прежнем нашем весе, о каждом шаге и рывке

вперед, против притяжения и препятствий, что сдерживали каждый крохотный атом. У наших новых глаз не было устойчивой перспективы. Мы плыли вперед, свободные и легкие, а когда оглянулись для определения курса на оболочки, в коих раньше были заключены, то увидели только то, что находились среди скопления удивительнейших замысловатых структур и форм: нас окружали сверкающие кристаллы, ни один из которых не повторялся, каждый — чудо утонченности и равновесия, и ради каждого мы могли бы останавливаться, дабы созерцать и дивиться… Их были мириады, они плыли и текли вокруг нас, и поскольку возможности наших глаз изменялись, порой эти кристаллы казались огромными, размером с нас, а порой и маленькими. Мы не сразу поняли, что это множество бесконечно разных форм было снежинками, которые еще совсем недавно являлись нашими врагами: ведь именно из-за этой красоты наша маленькая планета и обрела смерть. Но мы этого и не подозревали, не догадывались об этом, когда вытягивали руку, чтобы поймать белую снежинку и показать ее своим детям: «Видишь? Это снег! Это водяной пар, который всегда в воздухе вокруг нас, только в новой форме». Мы никогда

и не думали, что эту маленькую крошку, белую пену, можно увидеть подобным образом, в виде скопления структур таких поразительных, что их можно изучать с восхищением, которое никогда не истощится. Проплывая меж ними, ощущая постоянное изменение собственной формы и размера, мы попытались остановить свое движение, чтобы насмотреться на эти чудеса, но эта сцена вдруг растаяла и пропала, кристаллические структуры исчезли, ибо они относились к какой-то сфере и царству, что мы уже миновали. Теперь, когда мы оглянулись на кучку тел под ворохом грязных шкур, дабы определить, как далеко от того горного пика мы находимся, мы увидели их как сплетения и покровы света, увидели хрупкую решетку атомной структуры, увидели огромное пространство, бывшее тем, чем в действительности мы главным образом раньше и являлись, — хотя тогда у нас не было глаз, чтобы постичь это, даже если наш разум и знал истину. Однако крохотный блеск, танец, на который мы смотрели, остов атомной структуры исчезали по мере того, как мы вглядывались: да, мы видели, как эти наши прежние тела в ворохе тяжелых шкур утрачивают форму, как атомы и молекулы утрачивают свои связи друг с другом

и сливаются с субстанцией горы. Да, благодаря новым глазам нам открылось то, что вся планета превратилась в тонкую и хрупкую сеть или решетку, с пространствами между построениями атомов. Но что же это были за новые глаза, которые могли видеть наш старый дом так — как взаимосвязанные структуры атомов, — и где же мы, Представители, находились, *чем* же мы стали, и какими мы казались тем, кто мог видеть нас — с их более острым и точным зрением? Раз у нас, несомненно, изменялись глаза и сам образ видения — да так, что в каждый следующий миг нам казалось, что мы обитаем в другом мире, или области, или реальности, — то наверняка за нами могли наблюдать и другие, могли видеть нас — но видеть что? Хоть мы и утратили свои прежние формы, которые уже дезинтегрировались и влились в субстанцию горы, снега, ветра и скал, утратили те хрупкие сети, или покровы, или шаблоны, которые являлись больше пространством, нежели субстанцией, — хоть мы и утратили то, чем были, мы по-прежнему чем-то были и продолжали двигаться вместе, группой индивидуумов и одновременно как целое, и вынуждены были быть, *должны* были быть построениями материи, материи некоего рода, поскольку всё

— сети материи, или субстанции, или чего-то вещественного, пускай и переходящего из одного состояния в другое, перемешивающегося и всегда становящегося все меньше и меньше, — является материей, субстанцией, ведь мы ощущали себя существующими; мы были чувствами, мыслью, волей. И вот они-то и были нашей сетью, тканью, основой нашего нового существования, хотя в нашем прежнем существовании для них как будто и не было дома или места, и мы представляли, как любовь, ненависть и все остальное завывают, носятся и пульсируют в огромных пространствах, что простираются меж ядром атома (если ядром можно назвать то, что исчезает, когда думаешь о нем) и окружающими его частицами (если частицей можно назвать колебание и течение, — и эти чувства и мысли составляли наши новые «я», или наше новое «я», и новый разум подсказывал нам, что мы все еще были неуловимым, но строгим танцем — точно так же, как старый разум говорил нам, чем мы являемся, хотя мы и не обладали такими глазами, чтобы увидеть это. Однажды, еще до того как мы превратились в мертвых животных на вершине горы, эти слои или покровы приладились друг к другу, обратились в целое, функционировали совместно — но теперь одно

построение уже погрузилось в физическую субстанцию Планеты Восемь, и выступило другое, и наши глаза с каждым мигом изменялись, так что мы беспрестанно становились частью новой сцены или нового времени. И мы не были чем-то постоянным даже с неким существом, которое не могло изменяться, — ибо мы натолкнулись на призрака, или чувство, или вкус, который мы назвали «Нонни»: едва блестевшее создание, или форма, или танец, который некогда был — мы знали это — Нонни, мертвым юношей, товарищем Алси, и это существо, или суть, пришло к нам и соединилось с нами, с нашей новой субстанцией, и мы все продолжили двигаться как одно и в то же время раздельно в своем путешествии к полюсу. Кто двигался? И как нас звали?

Там были и школьный учитель, и хранитель вод, и производитель и создатель зерновых, фруктов и растений, и хранитель и производитель животных, и рассказчик, беспрестанно создающий и воссоздающий воспоминания населения, и няня для совсем маленьких и беззащитных, и целитель — открыватель медикаментов и лекарств, и путешественник, посещающий планеты, дабы знания не оставались изолированными и неразделенными, — все они были там, среди нас и в

нас, все наши функции и трудовые способности заключались в субстанции этих новых существ, этого Существа, которым мы теперь были — и Джохор с нами и в нас, ведь Джохор слился с нами, Представитель Канопуса как часть Представителя Планеты Восемь, уничтоженной планеты — по крайней мере, уничтоженной для наших целей, ибо кто знает, как эта глыба льда, вращающаяся в пространствах небес, еще видоизменится — станет, например, газом в своем возвращении к почве, форме и субстанции, которые узнали бы наши глаза, что некогда были у нас.

А Представитель все мчался, словно косяк рыб или стая птиц; единый и в то же время соединение индивидуумов — каждый с собственными малыми мыслями и чувствами, но совместными с другими потоками мысли и чувства, входящими, выходящими, перемещающимися, обособляющимися.

Что же мы видели там, что ощущали — и где? В каком месте или времени пребывали мы: чем мы были и когда? Мы уже не видели снежных и ледяных пустынь, нет, но лишь бесконечное смещение и изменение — мы видели нашу планету в мириаде обликов или вероятностей. Мы видели ее в сверкании, во вспышке, как она некогда и су-

ществовала, наше теплое и прекрасное местечко, где все доставляло нам счастье, и помимо этого краткого видения мы зрели и тысячу разновидностей того же самого, и каждая из этих разновидностей незначительно отличалась от другой, так что каждая — если бы мы видели только ее одну — могла бы расцениваться нами как стадия развития нашей планеты, но мы видели их именно таким образом, так быстро сливающимися и такими едва различимыми, и поэтому знали, что представшее перед нами было *вероятностями,* которые могли бы произойти, но не произошли в нашем пространстве и времени. Тогда они, видимо, произошли где-то в другом месте? Да, именно так, мы наблюдали — после, подле или позже, во всяком случае, *где-то* и *когда-то* — различные стадии развития нашей планеты, столь многочисленные, вероятности, не воплотившиеся в действительность на том уровне существования, что был нам известен, что мы испытывали, но висевшие как раз за покровом, возможностями, что могли бы или должны были проявиться… Там были мириады не осуществившихся вероятностей, но каждая была реальной и действовала на своем собственном уровне — *где, когда* и *как*? — и каждый мир до последней частицы был таким

же действительным и ценным, как и тот, что был нам известен как реальный. Как когда-то я, Доэг, стоял перед зеркалами в оболочке своего старого «я» и видел распростершиеся в бесконечном ряду вероятностей все разновидности из генетического хранилища как явные — порой столь похожие на то, чем я был, что я едва мог отметить разницу, но потом меня становилось все больше и больше, в каждой разновидности, и в разновидности уже совершенно отличной от того, чем «я» был, но каждая являлась вероятным и потенциальным вместилищем этого ощущения меня самого, Доэга — одних мои друзья без труда признали бы как меня, Доэга, другие же были так чудовищно далеки от меня, что лишь поворот головы или с трудом уловимая знакомая черта, движение глаз или осанка могли бы сказать: «Да, и он тоже из семьи Доэга, это вероятность Доэга, которая не проявилась в этом измерении или пространстве», — вот так и теперь мы видели все миры, что не были нашей планетой, но все же простирались там, окружая ее и соприкасаясь с ней, и каждый — абсолют и реальность в своем пространстве и времени.

Ах, кто же тогда были Доэг и Алси, кто были Клин, Нонни, Марл и остальные? Чем же была

наша планета, одна из великого множества? И когда мы мчались, призраки среди призрачных миров, мы ощущали рядом с собой, в себе и с нами замерзшее и мертвое население, погребенное под снегами. Люди нашего старого мира лежали окоченевшими в пещерах, лачугах, насыпях из льда и снега — их оболочки будут покоиться там столько, сколько будет сохраняться лед, прежде чем превратится — поскольку все должно изменяться — во что-то другое: быть может, в газовое завихрение, или же в пространства сотрясающейся почвы, или же в огонь, что вынужден будет гореть, пока и он не изменится… *должен* будет измениться… *должен* будет стать чем-то другим. Но то, чем они, наши люди, наши «я», когда-то были — теперь было с нами, было нами, стало нами — не могло не быть ничем иным, кроме как нами, их представителями — а мы, все вместе, Представитель, наконец-то нашли полюс, что был оконечностью нашей старой планеты, темный холодный полюс, который некогда был воздвигнут в качестве ориентира для космолетов Канопуса, когда они посещали нас. Там мы покинули планету и пришли туда, где теперь и находимся. Мы, Представитель, многие и один, пришли сюда, где Канопус управляет, охраняет

и обучает.

Вы спрашиваете, какими нам виделись канопианские агенты во времена Великого Льда? Эта повесть и есть наш ответ.

Послесловие

Мысль написать эти строки посетила меня еще до того, как я приступила к созданию третьей книги цикла, «Канопус в Аргосе: Архивы», ибо к тому времени я вот уже почти пятьдесят лет восхищалась двумя героическими британскими экспедициями в Антарктику. Я имею в виду полярные экспедиции, которые возглавлял Роберт Фолкон Скотт: как известно, первая из них состоялась в 1901–1904 годах, вторая в 1911–1912 годах. Нет, меня интересуют не снег и лед как таковые, но, скорее, определенные социальные процессы тех времен, столь четко высвеченные упомянутыми полярными экспедициями. Но я понимала, что несерьезным, склонным к буквальному пониманию читателям будет нелегко разглядеть, каким образом роман «Сириус экспериментирует», третья книга «космического» цикла, мог возникнуть из пристрастия автора к полярным исследованиям, и поэтому я отказалась от своего намерения написать послесловие. А следующая часть романа оказалась такой «зимней», что в проведении параллелей не возникло бы никаких

трудностей: долгое увлечение автора полярными исследованиями и, как следствие, повесть о планете, замерзающей насмерть. И все же читатели, наделенные пониманием творческих — или, по аналогии с электричеством, преобразовательных — процессов, так же легко могли бы ожидать романа о пустынях или какой-то другой крайности климата, географии или поведения. Так что это послесловие в равной мере, если даже не больше, относится и к роману «Сириус экспериментирует».

Есть и еще одно, чисто меркантильное, соображение, почему послесловие к короткой повести вещь неплохая, хотя оно изначально и не планировалось. Когда я сообщила английскому издателю, что четвертая книга цикла будет очень короткой, он был доволен, и не только потому, что это означало бы, что на ее издание будет затрачено меньше деревьев, бумаги, типографской краски и клея для переплета, но и потому, что англичане отличаются пристрастием к коротким книгам, которые с большей вероятностью могут оказаться хорошими и качественными, нежели длинные, — и это несмотря на Диккенса и всех этих многословных и бесспорно выдающихся викторианцев. В то же время, когда я сказала об

этом же своему американскому издателю, он мне ответил, высмеивая и себя, и свою нацию, но при этом говоря всерьез, как это они умеют: «Но вы же знаете, что в Америке серьезно воспринимают только большие книги». Так что за границей (я имею в виду за границей Англии, не зная, где живут мои читатели) большое, тем не менее, считается прекрасным.

В Кембридже есть целое здание, отведенное под архив документов о полярных экспедициях, но мне его посетить не довелось. Мои исследования не систематические, но другого рода, когда (зная, что у тебя точно есть близость к предмету или теме, поскольку она не перестает появляться в твоей жизни, но всегда по-разному, как по-разному открывается ландшафт с разных сторон горы) ожидаешь, что все произойдет само по себе: на библиотечной полке вдруг находится книга, о существовании которой ты и не подозревал; происходит случайная встреча с родственником одного из исследователей; ты читаешь письмо в газете; или друг, зная о твоем интересе, присылает тебе биографическое исследование, обнаруженное в букинистическом магазине в Брайтоне. Подобный метод изучения подразумевает, что можно быть не в курсе фактов, известных даже

начинающим исследователям, но если сведения и возможности просто витают в голове и в окружающей тебя атмосфере, то они могут сложиться довольно неожиданным образом.

Вот как я впервые услышала о Скотте и его героическом отряде. Это произошло еще в Африке, в Южной Родезии, которая теперь называется Зимбабве, на ферме моего отца. Наша семья имела обыкновение собираться во дворе, чтобы полюбоваться дневным или ночным небом, насладиться погодой или ландшафтом, простиравшимся на многие мили во всех направлениях, — диким и большей частью пустынным пейзажем, окруженным горами. Дело в том, что мы находились в сотнях миль от моря, да и Англия была далековато, и столь же далеки были во времени экспедиции Скотта. Почти всегда было жарко, а небо было очень красивым — либо поразительно голубым и чистым, либо наполненным облаками, активно перемещающимися благодаря теплу, восходящему от прогретой земли и растительности. Хотя в засушливые месяцы обычно где-то поблизости полыхали лесные пожары. В моей памяти живо запечатлен образ стоящей во дворе матери: голова запрокинута, руки вытянуты вперед, как у драматической актрисы. Я не

помню, рдел ли в тот вечер поразительно красивый закат или собиралась буря. Зато помню, что мама, задыхаясь от избытка чувств, вся сияющая, ибо она наслаждалась подобными моментами, произнесла:

— Ах, представьте только капитана Оутса, уходящего в одиночестве, чтобы умереть в пурге, — о, он был отважнейшим джентльменом!

На что я отозвалась с подростковым максимализмом:

— А что еще ему оставалось делать? В любом случае они все были обречены!

Я раскаиваюсь, что тогда сказала это маме, но остаюсь при своем мнении; в действительности же мне кажется, что уже тогда я была такой же проницательной, какой и впоследствии, и я завидую упрямой девочке, расчистившей свой путь от пиетета и притворства, ибо, без всяких сомнений, человека жизнь смягчает: терпимость превращает всех нас в сладкую нугу.

Отец мой сентиментальным не был и, как и всегда, когда на маму накатывало возвышенное настроение, чувствовал себя неловко и наверняка сказал что-нибудь вроде:

— А, хватит трепаться, жена.

А мне:

— Попридержи язык, дерзкая девчонка. Обязательно было тебе высказывать свое мнение?

Да, обязательно, и у меня имелись основания для этого высказывания.

Не то чтобы моему отцу были безразличны Скотт и остальные, ибо они прославляли Англию, а для обоих моих родителей быть англичанином по умолчанию подразумевало быть лучшим.

Теперь трудно понять, что означало само понятие «Англия» для моих родителей, принадлежавших к тому же поколению, что и героические исследователи полярных широт. Слово может быть сильнодействующим средством для одного поколения и слабым, как молоко, для следующего. И в данном случае важно, будет ли у моих иностранных читателей — и здесь подразумеваются в том числе и американцы — хоть малейшее представление об исследователе Скотте, будет ли им известно больше, чем многим британцам в возрасте, скажем, до сорока лет. Пустые взгляды — вот что я встречаю, когда дую в старую трубу: «Скотт из Антарктики!» А они: «Скотт? Это он, что ли, открыл Южный полюс?» Да, еще совсем недавно Скотт, Антарктика, фамилии полярных исследователей, — все это составляло один из тех мифов, или пиететов, что должны быть в

качестве источника вдохновения у каждой нации. Да, существовал этот отряд преданных делу полубогов, отважных джентльменов, всех до одного, и любой, кто осмелился бы намекнуть, что у них имелись хоть какие-то недостатки, был бы избит. Это считалось так же безнравственно, как и предположить, например, что в Великом походе[1] принимали участие заурядные люди… — добавьте собственные национальные пиететы, заполните это многоточие именами ваших собственных героев.

Бернард Шоу сказал как-то примерно следующее: героев никогда не было в недостатке, всегда полно желающих умереть за дело, благое или дурное, но мы могли бы обходиться и меньшим героизмом, взамен этого побольше думая. Обычно оказывается, что Шоу уже высказывался чуть ли не на все интересные темы.

В последнее время в Британии отношение к Скотту стало совсем другим: назревает переоценка его как руководителя и организатора экспедиции 1911–1912 гг. Есть даже признаки того, что его объявят едва ли не преступником. Возможно, Скотт и впрямь проявил недостаточно

[1] Примечания: 1

Великий поход (1934) — уход китайских коммунистов из провинции Цзянси после окружения силами Чан Кайши.

компетентности и совершил ряд ошибок: вопрос не в том, что он допустил те ошибки, что допускает каждый, — плохо, что он допустил такие, которые не должен совершать даже руководитель средних способностей. Короче, мы вот-вот развернемся от одной крайности к другой, но я не хочу иметь к этому отношения: я лишь интересуюсь тем, как происходит переоценка подобного рода, и ее временными рамками. Что скрывается за фактами, подобными этим: совсем недавно невозможно было подвергнуть сомнению безупречность Скотта без того, чтобы не навлечь на себя по крайней мере скорбного осуждения; всего лишь за год безупречная «Банда четырех»[2] трансформировалась в преступников; в пятидесятых годах в Соединенных Штатах ничтожество по имени Маккарти мог запугивать и терроризировать здравых и нормальных людей, а в шестидесятых молодежь, представавшая перед подобными же комитетами, просто смеялась. Нет, те юные американцы не должны были воображать, будто, предстань *они* перед

[2] Примечания: 2

«Банда четырех» — лидеры Коммунистической партии Китая, снятые с постов и арестованные в 1976 г. после смерти Мао Цзэдуна; им вменялись в вину события Культурной революции, приведшие к катастрофическим культурным и экономическим последствиям для Китая.

комитетами десятилетней давности, они бы тоже смеялись, ничего подобного: они были такими же хорошими, как и их родители, но не лучше — за то время что-то произошло, *изменилась атмосфера,* как мы выражаемся, используя одну из тех фразочек, что оправдывают наше нежелание думать. Я могла бы заполнить страницы, целые книги фактами, иллюстрирующими эту тему, как ереси одного года превращаются в пиететы следующего и наоборот, поэтому каждый может игнорировать период неразборчивой восторженности — было бы желание. Но по какой-то причине мы не можем приложить очевидные уроки истории к самим себе.

Почему? Можем ли мы научиться не навязывать друг другу эти священные предметы первой необходимости во имя какой-то догмы или чего другого с тем результатом, что в течение десятилетия неизбежно будет отвергнут со словами: «Мы ошиблись». Так просто представить себе Духа Истории (мы столько упражнялись в этом!), всклоченную, но благодушную даму, надевающую маску важного правителя или сатрапа: «Боже мой, — улыбается она, — оказывается, я снова ошиблась!» И холокост, голод, война и миллионы невинных жертв в тюрьмах и пыточных

камерах отправляются на помойку истории.

На моем веку было несколько подобных драматических изменений, несомненно, произойдут и еще, и очень скоро. Собственные весьма иронические мысли на эту тему — одно из утешений на пороге старости. То, что происходит, наверное, похоже на медленное возложение песчинки за песчинкой на одну из чаш весов, хотя этого и не видно, можно лишь догадываться об этом. А затем — внезапное нарушение равновесия. Действительно ли это те процессы, что мы можем научиться исследовать, особенно когда они повторяются столь часто, когда они как будто ускоряются, как и все остальное?

Приведу пример. Я была одной из тех немногих, кто в начале пятидесятых пытался убедить журналистов, членов парламента и политиков, как скверно обстоят дела на юге Африки. Тогда невозможно было открыто заявить о преступно жестоких тираниях, нет, приходилось это скрывать. И все равно с нами обходились с терпимым изумлением… отвергали нас как заблуждающихся… красных… антибритански настроенных… сумасшедших. Через десять лет представление о том, что происходящее на юге Африки — в ЮАР и Южной Родезии — следует как минимум под-

вергнуть рассмотрению, стало уже приемлемым убеждением. Было «общепринятым мнением». Спустя десять лет — но к тому времени оказалось уже слишком поздно. Разумеется. Я ввожу это «разумеется» как условное обозначение для своего подозрения, что это действующий закон. Предотвратить ту войну было бы самым простым делом в мире, обратись люди к здравому смыслу — но когда и кого интересовал здравый смысл? Если бы белые смогли спокойно посмотреть на аналогичные исторические процессы хотя бы пять минут — но когда, в какие времена правящая каста обладала такой способностью?

Нет, это не «а мы что говорили!». То для кричащей юности. После «я же говорил» приходит гнев на бесполезную трату всего, на глупость, на отвергнутую возможность предотвращения… Но что, если так всегда? Так и должно быть? Действующий закон? Тогда во всех этих эмоциях и смысла нет, они лишь пустая трата времени, гнев от досады, как и «я же говорил»: нам необходимо думать, а не проявлять эмоции. Политики и правители не создают события, они всего лишь марионетки — что ж, тогда не следует ожидать чего-то другого. Однако, по-видимому, повторяемость исторических и социологических

процессов даже не замечается. Теперь, когда молодые вступают в наследование, чтобы выбрать ту или иную разновидность социализма из пятидесяти семи возможных, они все, без труда и усилий, соглашаются с тем, что существует тирания белых над черными на самом юге Африки. Но предположим, что их аналоги знали об этом в надлежащее время. И — в этом-то и заключается суть — в то время как они соглашаются, как и их предшественники, с «общепринятым мнением», какие зарождающиеся понятия они упускают? Понятия, которые — когда станет уже слишком поздно — будут с легкостью усвоены подобными им через двадцать лет — понятия, которые к тому времени утратят всю свою силу, износятся?

Раньше я думала, что эта последовательность — сперва бесполезные, осмеиваемые или даже наказуемые предупреждения со стороны немногих, затем они медленно принимаются с последующим формированием основы нового отношения, которое к тому времени уже устаревает, — свойственна лишь политикам да массовым религиозным движениям. Но можно увидеть, что эти процессы действуют в каждой области, от спорта до литературы.

И, коли на то пошло, действуют в вас самих.

В политической сфере правящие слои страны, государства, отождествляются со своей пропагандой… Нет, это не они используют ее, ибо это, по моему мнению, одна из формул марксистской риторики, подменяющих собой мысль; это они используются ею, ибо они отождествляются со своими собственными обоснованиями пребывания у власти, всегда самообманчивыми. Когда хоть один правитель говорил: «Я — злобный тиран»? Шах Ирана и Амин, диктатор Уганды, считали себя хорошими. Увы, сталкиваясь с фактами, демонстрирующими, что такая-то и такая-то колонизированная страна или же менее привилегированная часть их собственной страны, города или района претерпевают трудности, подвержены притеснениям свобод или тирании, эти люди всегда и неизменно будут эти факты отрицать. Ничего другого и ожидать нельзя. Помню, когда я разбирала дело о принудительной покупке дома Советом Большого Лондона, мне довелось наблюдать запугивание, недобросовестные сделки, явную коррупцию служащих Совета — и все это по отношению к несчастным людям, не принадлежащим к среднему классу и неспособным постоять за себя. Я ходила по различным знакомым — муниципальным советникам или

к другим, как-то вовлеченным в процессы государственного управления, — но нет же, всегда привычная терпимая улыбка, скрытое раздражение: подобные ужасы невозможны, не при *их* благосклонной поддержке.

Приблизительно правило можно сформулировать так: находящиеся у власти, на верхушке институтов, ведомств или министерств, никогда не позволяют себе знать, что делают их подчиненные, ибо это означало бы утрату их образа в собственных глазах как единственных пригодных для руководства, осуществления власти. (Не говоря уж о потере своей работы.) Я просто не могу поверить, что мир всегда столь по-глупому плохо управлялся, как сейчас, что бедные всегда были такими беспомощными и что правители всегда ими так пренебрегали. Существовали же в прошлом нации, государства, общины, правители которых считали своей обязанностью знать, что происходит в нижних сферах их аппарата управления. В некоторых средневековых королевствах Европы, на Среднем Востоке правители поручали чиновникам (или даже делали это сами) инкогнито проверять поведение того или иного должностного лица. Но такова уж степень цинизма, в который мы впали, что трудно пове-

рить в то, что если бы мы сами стали проделывать нечто подобное, то проверяющие практически сразу же не оказались бы ставленниками тех самых чиновников, которых они проверяют.

Но меня занимает то, что эта идея появилась вместе с теми, которые мы считаем полезными в качестве средств добропорядочного управления. В какой же момент она утратила свою действенность… превратилась в старомодный пережиток… симптом личного деспотизма? Когда она вернется вновь и при какой форме правления? Думаю, что должен существовать определенный срок действенности идей, набора связанных идей. Они рождаются (или возрождаются), достигают зрелости, ветшают, умирают и заменяются. Если мы даже не задаемся вопросом, действительно ли это процесс, если мы даже не делаем попытки отнестись к механизмам идей как к тому, что мы можем беспристрастно изучить, то как же мы можем надеяться управлять ими?

Нет, я не отвлеклась: подобные размышления именно и вызваны изучением этой исключительной последовательности событий — исследования Антарктики, или же, обращаясь к нашему имперскому способу выражения, открытия Юж-

ного полюса, цели, извергшей из Скотта крик: «Боже! Какое ужасное место!». Такое ужасное, что там нет даже животных: до появления людей там не было вообще никого — хотя, может, порой и пролетали птицы. Поэтому Южный полюс, по крайней мере, обладает признаком настоящего открытия, в отличие от, скажем, водопадов Виктории или Ниагарского, бывших известными африканцам и индейцам по меньшей мере на протяжении сотен лет до их «открытия» белыми. (Данное замечание, конечно же, отдает избитостью и банальностью, но до совсем недавнего времени оно считалось резким.)

За десятилетия до Первой мировой войны Антарктику исследовало большинство европейских государств — соперничество различных отрядов, представление на огромной сцене, освещавшееся популярными газетами в силу самого факта так, словно это было новой забавой; и теперь, пожалуй, представляется, что «глаза мира» больше были обращены к этой драме, нежели к событиям, ведшим к войне. Что само по себе небезынтересно. Две стороны соперничества наций, у всех на виду; а что до европейцев, то для них это выглядело вполне обычным делом. Но вот как это выглядело в глазах большинства лю-

дей, не бывших европейцами: маленькая Европа, пыжащаяся и портачащая в своем уголке, словно стайка школьников, дерущихся за пирожное.

Есть люди, которые верят, что когда потомки оглянутся на наше время, национализм покажется им таким же смертельно глупым, как большинству из нас сейчас видятся религиозные войны. И даже в том опасном климате, в котором мы живем, оказался возможен Международный геофизический год,[3] отчасти бывший результатом лучших сторон соперничества и устремлений самих исследователей. Ибо так же, как и воюющие солдаты в окопах сохраняли приличие и здравый смысл по отношению к своему противнику, а ненавидели-то и заходились воем штатские, так и в случае полярных исследований ученые занимались действительно делом, оставляя самое плохое — зависть, ревность — зрителям.

И уже перед самым финишем осталось двое соперников — Норвегия и Британия. Норвежский отряд возглавлялся Руалем Амундсеном, британ-

[3] Примечания: 3

Международный геофизический год — период с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г., в течение которого 67 стран на всем земном шаре проводили геофизические наблюдения и исследования по единой программе и методике.

ский — Скоттом.

Амундсен покорил Южный полюс первым, примерно на месяц раньше. И он благополучно вернулся домой, обойдясь без жертв. Британский отряд погиб, претерпев перед этим все несчастья, какие только можно. Причины, по которым одна экспедиция прошла так успешно, а другая нет, анализируются с того самого времени и до сих пор. Одна заключалась в том, что Амундсена поддерживало норвежское правительство, в то время как экспедиция Скотта была позорно проигнорирована британскими властями. Эта скупая недальновидность по ряду причин представляется мне исконной чертой британского правительства. Во всяком случае, Скотт, человек ранимый, был вынужден повсюду униженно просить денег, что не пошло ему на благо. Полярники не смогли позволить себе купить и оснастить судно надлежащего типа, в то время как корабль Амундсена был предназначен для плавания во льдах. Британская экспедиция была научной, перед норвежской же стояла единственная цель — достичь полюса и вернуться. Норвежцы обладали всем необходимым опытом, британцы же знали довольно мало о снеге, льде и обращении с собачьими упряжками. Но эти сопоставления,

которые можно было бы продолжить, возможно, не относятся к делу.

Ибо что действительно до глубины души поражает, когда начинаешь читать дневники, письма, отчеты, так это разница в тоне, атмосфере.

Книга Амундсена толково и отнюдь не хвастливо описывает осмысленную и хорошо подготовленную экспедицию. Она выдержана в спокойном и практичном тоне.

Когда же обращаешься к отчетам об экспедиции Скотта, сразу же оказываешься в совершенно другом мире.

Атмосфера, это слово, что мы употребляем с такой легкостью, — что это такое? Журналист или исследователь наверняка будет спрашивать: что случилось тогда-то, там-то? Кто это сказал и почему? Каковы ваши предположения о случившемся?.. И вот вы сидите, вспоминая всевозможные события, стараясь рассказывать правду, а потом понимаете, что все это бесполезно. Потому что вам никак не удается передать атмосферу, Zeitgeist.[4] Вы можете предложить вниманию слушателей события, дабы проиллюстрировать

[4] Примечания: 4

Дух времени *(нем.)*; совокупность идей, характерных для какого-то периода, изначально понятие было введено немецким историком культуры Иоганном Гердером (1769).

то прошедшее время (которое в действительности может быть совсем недавним), но сплошь и рядом они кажутся остальными неестественными, а вовлеченные в них люди — сумасшедшими. Наконец вы с отчаянием говорите: понимаете, атмосфера так изменилась, что…

Это в точности то же самое, что пересказывать другому человеку сон. Вы описываете последовательность событий, как сюжет фильма. Я был там-то и сказал то-то, а затем… Но одна и та же последовательность событий, затрагивающих одних и тех же людей, может оказаться разными снами. Атмосфера — вот что главное. А как ее передать? Вы невнятно продолжаете: у сна был такой сильный аромат, такой неотразимый, понимаете? Ну, он напоминал… Как же мне лучше сказать? У него был совершенно безошибочный аромат или вкус, и когда бы я ни оказывался во сне с такой атмосферой, я знал, что…

И это все. Передача информации невозможна, если только кому-нибудь еще не снился такой же сон — что вам приходится принимать на веру. Наяву, конечно же, у людей действительно был одинаковый сон, это бесспорно, с ними происходили одинаковые события, *они переживали одинаковую атмосферу;* так что, когда вы

спрашиваете: «Ты помнишь?» — они и вправду помнят, вы оба помните, и вы в самом деле можете обменяться улыбками, свидетельствующими, что невозможно было бы описать эту атмосферу тому, кто ее сам не пережил.

Отчеты о двух экспедициях, норвежской и британской, повествуют о двух различных эмоциональных событиях, с различными атмосферами переживания. С трудом верится, что они происходили в одно и то же время, в одном и том же месте, с более или менее одинаковыми целями, были укомплектованы людьми одного типа, многие из которых были широко известны как профессиональные исследователи, людьми, которые либо знали друг друга, либо слышали друг о друге и которые уважали достижения друг друга.

Но на эти стороны британской экспедиции в то время не обращали внимания или их вообще не рассматривали; ибо я уверена, что предубеждения, являющиеся результатом подсознательных допущений времени, в точности те же самые, над которыми люди впоследствии самое большее недоумевают.

Национальные предубеждения никуда от нас не делись, хотя они и смягчились или изменились.

В обеих экспедициях не было женщин. В то время женщин, отстаивавших свои права, избивали полицейские, подвергали насильственному кормлению в тюрьмах, их осмеивали и освистывали изящные джентльмены, они повсеместно подвергались нападкам, и довольно часто со стороны самих же женщин. Для них было просто невозможно войти в состав экспедиций. Здесь вопрос о чьей-то вине даже не стоит, ибо идея пока не обнаружилась. И все-таки, хотела бы я знать, сколько девушек лежали по ночам без сна, гневно возмущенные узами элегантности, этой их навязанной «слабости», думая: «Если бы я только там была, я бы им показала»; «Я *знаю,* что могла бы быть такой же храброй и находчивой, как и они!»; «Ах, горькие слезы ненужных, опекаемых и разочарованных женщин!» Это, между прочим, подлинные цитаты из писем женщин друг другу как раз накануне Первой мировой войны.

Но женщины все же способствовали исследованиям XIX века. Они были активны и тогда. Была, например, Изабелла Берд.[5]

За этими драмами полярных экспедиций — сценический задник женщин — нет, дам, —

[5] Примечания: 5

Изабелла Люси Берд (1831–1904) — английская путешественница и писательница.

элегантно стоящих в ниспадающих стесняющих одеяниях, с тоской улыбающихся своим героям, и в основном это безмолвная масса свидетельниц. Они смотрели, как их мужчины покидают порты Англии, они отправлялись в Новую Зеландию, дабы принять участие в прощаниях, церемониях встреч, официальных обедах, и они получали горы писем и были любимы с благоговением, признательностью и поклонением, как тогда подобное и происходило.

По меньшей мере очевидно, что эти женщины не всегда смотрели на вещи, как их мужчины.

Что до представительниц других классов, они говорили еще меньше.

Так мы подходим к классовым различиям, таким жестким, что у многих читателей невольно вырывается: «О нет, подобное действительно *невозможно».* И все же они воспринимались тогда как само собой разумеющееся. Они были основополагающими. Считались правильными. Естественными. Полезными в смысле дисциплины. Были — и этого нельзя не заподозрить — связаны с Богом, добродетелью, божественным порядком и, это несомненно, предопределенным Богом величием Англии. (Именно к *Англии* обращались эти люди, не к Британии, компро-

миссному и испорченному слову, а к идее.)

Были офицеры, и были рядовые, и они раздельно питались и спали, даже в самых экстремальных ситуациях; имена офицеров были известны всем — мужчинам, женщинам и детям по всей Британии, в то время как рядовые были известны меньше, пускай они и выполняли такую же опасную и тяжелую работу. Даже когда долгой антарктической зимой шесть человек укрывались в ледяной пещере, рискуя вскоре погибнуть от голода и холода, классовые разграничения соблюдались со всей строгостью, причем обе стороны были искренне убеждены, что это единственно возможный способ существования; офицеры лежали в одном конце пещеры, рядовые в другом, и они поддерживали друг друга с нежнейшей заботой.

Причиной непреклонности перед классовыми различиями было влияние британского военно-морского флота, того же Скотта: но были и такие, и среди них Шеклтон,[6] кто считал их нелепыми. Но, несомненно, военно-морской флот не имел никакого отношения к этому повсеместно распространенному настроению или

[6] Примечания: 6

Эрнест Генри Шеклтон (1874–1922) — английский исследователь Антарктики, принимал участие в первой экспедиции Скотта.

образу экспедиции 1911–1912 гг., такому пламенному, такому восторженному, ибо британский отряд был вовлечен в некое возвышенное предприятие, отчаянное, опасное, роковое дело… Но вместе с тем впоследствии возражали, что достижение Амундсена было таким же опасным и героическим. И верно: только потому, что он столь впечатляюще добился успеха, отнюдь не означает, что он не мог так же легко погибнуть со всей своей командой. Он рискнул, как он сам выразился, он играл со смертью. Но никто не погиб, и в записях Амундсена нет ничего, что предполагает, что он ожидал смерти.

То, что британцев не поддерживало собственное правительство, что их судно было столь неподходящим и опасным, что из-за этого они претерпевали множество тягот, несомненно усиливало эмоциональную нотку: мы против мира, мы, маленький сплоченный отряд, исполняем свой долг, хотя шансы наши минимальны!

Да, когда описываешь то время, столь непохожее на наше, существует опасность неверного истолкования. Например, взять слово «долг». Их преданность своим задачам и обязательствам была абсолютной из-за их отношения к долгу. Теперь же, в 1980 г., для нас это абсурдное слово,

и лишь немногие из нас мечтают приложить к чему-либо даже чуть больше усилий, чем вынуждены. Напротив, людьми, которые лгут, мошенничают и которым это сходит с рук, сейчас скорее восторгаются, нежели их порицают. В те времена детей учили быть ответственными, честными, верными, и участники тех экспедиций судили друг о друге и о себе именно по этим критериям. Однако экспедиция Скотта в высшей степени характеризовалась горделивой и восторженной эмоциональностью; и хотя она была связана с долгом перед Англией, Богом, наукой и их лучшими сторонами собственного «я», не превышало ли все это необходимое?

Мне представляется, что все, что они делали, должно рассматриваться в этом другом свете: они или же лишь ключевые фигуры, особенно Уилсон, причем некоторые сознательно, были вовлечены в попытку превзойти самих себя. Это было подлинной движущей силой экспедиции с самого начала, еще до всех неудач и трудностей, пренебрежения со стороны правительства, роковых несчастий и ошибок, придававших эмоциональный импульс. Но, вероятно, если бы экспедиция шла успешно, положение вещей не слишком изменилось бы, благодаря характерам

принимавших в ней участие. Эта потребность преодолевать наши обычные возможности — клетка, в которой мы живем, состоит из наших привычек, воспитания, обстоятельств, и она оказывается такой маленькой, тесной и деспотичной, когда мы все-таки пытаемся сломать ее, — эта потребность может и в самом деле стать самой сильной из тех, что мы испытываем. Как бы то ни было, ее можно наблюдать всегда и везде. (И, быть может, она ответственна за то воодушевление, с которым люди ввязываются в войны, но это уже выходит за рамки моей темы.) Каждый из нас с тоской думает о тех временах, когда мы могли бодрствовать сутками напролет, работать настолько за пределами своих обычных возможностей, что до сих пор не понимаем, как нам это удавалось, исполнять то, что нашим прозаичным «я» представляется сверхъестественно воздушным искусством.

Возьмем случай с яйцами королевского императорского пингвина.[7] Эдвард Уилсон, врач, биолог, художник, исследователь, писатель, захотел добыть несколько этих яиц — отчасти потому, что одной из целей экспедиции был сбор

[7] Примечания: 7
Здесь «королевский» — вид, а «императорский» — род пингвина.

экземпляров птиц, животных и рыб, отчасти потому, что считалось, что изучение зародышей птиц прольет свет на эволюцию.

Эти пингвины высиживают яйца в разгар антарктической зимы, в холодную непроглядную темень, да еще в недоступных местах. Люди трудились на пределе своих возможностей уже несколько месяцев. Они были измотаны, истощены и, ясное дело, переутомлены. Отправляться на поиски этих яиц было безрассудством. Скотт так и думал — и пытался отговорить Уилсона. Уилсон и сам, когда они выступили, так считал — и страдал из-за того, во что втянул и других, — но, конечно же, повернуть назад было не в их духе. Были там еще двое: Пташка Боуэрс, человек таких высоких моральных и физических достоинств, что выделялся даже среди остальных, обладавших этими качествами в полной мере, и молодой человек двадцати четырех лет, Апсли Черри-Гаррард, позже написавший самую лучшую книгу об экспедиции. Вот цитата из нее:

> *«Мы путешествовали ради Науки. Те три маленьких зародыша с мыса Крозье, та тяжесть ископаемых с острова Бакли и то множество материалов, менее впе-*

чатляющих, но собиравшихся с таким же тщанием, час за часом на пронизывающем ветру и в пургу, в темноте и в холоде, стоили приложенных усилий, дабы мир смог получить еще немного знаний, дабы он мог основываться на том, что знает, а не на том, что предполагает». [1]

Книга называется «Худшее путешествие в мире», глава «Зимнее путешествие» повествует о добыче яиц. Последняя глава, под названием «Никогда снова», вызывает пугающее и безрадостное чувство, хотя она, несомненно, написана весьма эмоционально и подытоживает заключения автора об экспедиции в целом. Но даже тогда, десять лет спустя, при всей той горькой оценке произошедших событий, пробивается неизменный восславляющий дух экспедиции, в совершенно здравом отрывке о будущем полярных исследований:

«Я надеюсь, что к тому времени, когда Скотт вернется домой — ибо он возвращается домой: Ледник движется, и в 1916 г. экспедиция Шеклтона не обнаружила никаких следов нашей погребальной пирамиды из камней, — лишения, что

сгубили его жизнь, станут лишь ужасом прошлого, а его via dolorosa[8] *— дорогой, такой же проходимой, как и Пиккадилли».* [1]

Очевидно, это означает, что каким-то мистическим образом льды и снега Антарктики принесут тело Скотта назад *домой,* с триумфом в Англию; и если вы в ответ возразите, что это совершеннейший вздор, то ошибетесь: вы просто не принимаете во внимание атмосферу времени.

Так вот, то Зимнее Путешествие… Было очень холодно, очень темно. Понять, чем же оно было, невозможно: вы лишь можете сказать «столько-то ниже нуля», но ничего из этого не понять, даже если и испытывали воздействие подобной температуры — ибо почти наверняка вы были сыты и тепло одеты, да и выходили лишь на минуту-другую. Им же «утром» могло потребоваться четыре часа, чтобы только высвободить свои промерзшие тела из замороженных или сырых спальных мешков и заставить свои конечности двигаться. Они доходили до состояния, когда уже не волновались о падении в расселины в ледни-

---

[8] Примечания: 8
Скорбный путь *(исп.).*

ке. Когда троица вернулась на базу, их одежду пришлось разрубать прямо на них на куски. Или другое впечатление: они на смертельном холоде, но в безмолвной ночи, поскольку на этот раз пурга прекратилась, ветер стих, они втроем одеревенело согнуты, тела сотрясаются от дрожи — «Когда тело дрожит, можно сказать, что холодно…» — продираются *со свечой* через мили ужасающего снега, чтобы дотащить сани, — сани приходилось волочь по очереди.

Это невозможное путешествие заняло шесть недель. Они были едва живы. Им повезло, что они не погибли. Когда они достигли места назначения, чтобы оказаться в гнездовье пингвинов, им пришлось спускаться по опасным ледяным обрывам — в полной темноте, естественно, с отмороженными пальцами, — но путь им преградили глыбы льда, и пришлось продираться меж них, и они могли и не вернуться. А затем разразилась пурга, хуже которой они представить не могли, и их палатку унесло, и… Все, что могло произойти плохого, произошло. И в течение всего этого времени Уилсон вел дневник, снимая для этого на несколько секунд перчатки, а Боуэрс продолжал метеорологические наблюдения, и все трое искренне любили друг друга, именно

так, и были готовы умереть друг за друга — что, несомненно, они, по сути, и делали, поскольку если бы они не вернулись, то их взаимная зависимость, их вера означали бы именно это. Когда я читала эту часть книги, все во мне протестовало: «Нет, вправду, остановите это! Это безумие, сумасшествие, ради чего вы это делаете?» Что? Ах, чтобы добыть зародыши для Музея естественной истории и во имя величия Англии. Но что же они делали на самом деле? Теперь-то это совершенно другое! С этих изумительных, потрясающих страниц исходит дистиллят духа всей экспедиции.

Когда они привезли эти яйца в Англию — в Музей естественной истории, оказалось, конечно же, что какого-то бестолкового чиновника нельзя беспокоить своим визитом. Какие там яйца: он не знал даже, кто они такие, эти люди. Но эту рукопись все еще писал художник, знавший, как все должно было произойти на самом деле: героических безумцев встречают с небывалым радушием, яйца принимаются с заслуженной дрожью благоговения — нет, слишком много разочарования. И первый же из ученых, исследовавший яйца, упустил важнейшую особенность, так что можно было бы сказать, что все предприятие оказалось напрасным. Если посмотреть

с этой точки зрения. Но у Черри-Гаррарда была другая — вот последний абзац, итог:

> *«И я говорю вам: если вы испытываете тягу к знаниям и обладаете возможностью придать ей физическое выражение, то идите и исследуйте. Если вы храбрец, вы ничего не потеряете; если же вы робки, то можете добиться многого, ибо кому как не трусу требуется доказывать свою храбрость. Кто-то вам скажет, что вы безумны, и почти все спросят: "А для чего?" Ибо мы — нация лавочников, а ни один лавочник даже не взглянет на исследование, которое не будет сулить ему финансовой отдачи в течение года. И поэтому вы будете тащить сани едва ли не в одиночестве: но те, с кем вы станете это делать, лавочниками не будут — а это стоит многого. Если вы пройдете свое Зимнее Путешествие, то будете вознаграждены, поскольку все, чего вы хотите — это яйцо пингвина». [*1]

Обратите внимание на утонченное презрение джентльмена к коммерции — дух, ни в коем случае не умерший в нас.

Зимнее Путешествие было только одним из невозможных подвигов, порожденных духом экспедиции.

Вот другой. Шесть человек — офицеров и не только — совершали с научной целью путешествие по сбору образцов и наблюдению за климатическими условиями, намереваясь встретиться с кораблем, который должен был подобрать их, как только позволят льды. Но из-за погодных условий существовала возможность, что судно вообще не пробьется и не заберет их. Я повторяю, что они всецело осознавали вероятность этого. И все-таки они не снарядились должным образом. Корабля нет: и они столкнулись с необходимостью выживания до следующей антарктической весны без соответствующей одежды, провизии и оснащения. Они вырыли в снегу пещеру, которую последующая экспедиция описала как собачью конуру. Они убили нескольких тюленей и пингвинов. Они разместились в этой пещере и поддерживали в печурке огонь тюленьим жиром, наполнявшим их жилище едким дымом и коптившим стены и их самих. Офицеры с одной стороны, рядовые с другой, объединенные преданной заботой, они лежали в грязных и неподходящих по размеру

спальных мешках, распевая песни религиозного и патриотического содержания, беседуя об Англии и еде. Естественно, из продовольствия были только ворвань и пингвины, да и то немного. На то, чтобы вскипятить воду, уходил целый час. Они страдали поносом. Но они ни в коей мере не падали духом и сохраняли свою жизнь в антарктической ночи при помощи разумнейшей и строжайшей дисциплины. Когда суровое испытание закончилось — а они поселились в ледяной пещере после четырехмесячного изнурительного похода и недоедания, — смельчаки проделали опасный путь назад на базу, где их встретила новость о гибели отряда Скотта. Тогда эти дочерна прокопченные, едва живые от голода призраки немедленно вспомнили о своем долге и вернулись к работе.

В таком вот духе все и происходило. Еще одна история, когда Скотт разрешил — в последнюю минуту, повинуясь порыву — пойти Пташке Боуэрсу с отрядом из четырех человек, отобранных для похода на Полюс, — хотя у них были лыжи, а у Боуэрса нет. Руководители не вправе принимать импульсивные решения вроде этого, и Скотта порицали и порицают за это; но в действительности все это лишено смысла, пока вы

не проникнетесь тем настроением страстного устремления или хотя бы не попытаетесь сделать это. Пташке Боуэрсу была оказана честь, которой он так жаждал, — войти в число тех, кто фактически откроет Полюс (который, когда они доберутся до него, окажется уже открытым Амундсеном). И когда они все лежали, умирая, в своей палатке, я уверена, что вряд ли они думали, что, возможно, было неразумно позволять этому последнему человеку войти в состав отряда, раз он был не полностью оснащен, — или что впоследствии сочтут расточительством, что риску был подвергнут еще один человек.

Нет, они лежали в палатке, умирая, а отважный капитан Оутс, едва держась на ногах, ушел в пургу — хотя есть указание, что он мог решиться на это и раньше (но какая была бы разница, даже если и так?), — и им всем придавало сил осознание того, что они исполнили свой долг как только могли и, улыбнись им удача, могли бы добраться до базы. В действительности, как позже пришли к выводу, они умерли просто от голода, ибо тогда еще не знали, что человеку, выполняющему такую крайне тяжелую работу, требуются калории.

Это была не их вина. Тем не менее Амундсен не страдал от недоедания. Его команда ела собак

весь путь до Полюса и обратно. За что англичане их осуждали, хотя при необходимости сами ели своих лошадей.

Все они были весьма разумными людьми, некоторые имели опыт других экспедиций, пускай и не все они были полярными. И все-таки они совершали подобные глупости. Хотя, очевидно, слово «глупости» здесь, в этой обстановке высокого праведного устремления, использовать нельзя.

Когда новость достигла Британии, или Англии, когда на родине узнали, что пятеро этих героев погибли, вся нация погрузилась в траур.

«Ради Бога, позаботьтесь о наших родных», — писал Скотт, умирая в своем спальном мешке, — пока он мог, он вел записи. И британское правительство, соответственно оказавшееся в затруднительном положении, сделало это.

Несколько месяцев спустя началась Первая мировая война. Сегодня большинство из нас оглядывается в прошлое и дивится полнейшей ее глупости и бесполезности. Как это вообще возможно, что ей позволили начаться, а затем позволили продолжаться? Невозможно, чтобы подобная бойня вообще произошла. Невозможно, невозможно — да все они, должно быть, обезу-

мели.

«Спасибо Господу, Кто подобрал Свой час нам», — пел этот юный идеалист, Руперт Брук,[9] в то время как миллионы юношей гибли в условиях преступной халатности.

Этот тон Брука, равно как и других поэтов, прежде чем истина о войне достигла дома, был в точности тоном экспедиции Скотта в Антарктику. И я задаюсь вопросом: не внесло ли свой вклад национальное опьянение смертью Скотта и других в то настроение, что сделало войну возможной?

Но большим быть оно не могло: всего-навсего маленькое добавление, что лишь содействовало усилению настроения, ибо все в Европе были опьянены соперничеством.

Атмосфера была настолько сильна, что, например, социалисты, встречаясь совсем незадолго до начала войны, пообещали не проникаться пропагандой, не позволять рабочим Европы ненавидеть друг друга на националистической основе, не допустить их использования соперничающими империями в качестве пушечного мяса. Ибо эти люди оказались способны ясно раз-

---

[9] Примечания: 9

Руперт Брук (1887–1915) — английский поэт, принимал участие в Первой мировой войне, умер от заражения крови.

глядеть свое положение еще *до* того, как начали бить в барабаны. Но они не смогли выстоять против всего этого; они поддались и были сметены остальными.

К этому моменту мне уже ясно, что экспедиция Скотта в Антарктику характеризуется преодолениями крайностей, неистовым внутренним конфликтом, высокой драмой, проистекающей из подобных напряжений. Порой природа исторического процесса, или события, или кризиса суммируется в одной личности, и, по моему мнению, здесь этой личностью является не Скотт, а Уилсон. По-видимому, он стал моральным средоточием обеих экспедиций. Люди приходили к нему за советом, утешением, поддержкой. Они боготворили его и восхищались им. Они уважали его, и они любили его. Они говорили о нем словами, которые обычно относятся к талантливым руководителям и образцам для подражания. И он отнюдь ни в чем не соперничал со Скоттом: они были ближайшими друзьями.

Я вынуждена настаивать, что это был всецело выдающийся человек, чья жизнь была чем-то вроде чуда, — и вынуждена продолжать настаивать, потому что в том климате или настроении, в котором мы сегодня пребываем, люди, подоб-

ные ему, вызывают у нас беспокойство. Довольно удивительно, что мне приходится обращать на это внимание: моим родителям, например, показалось бы невозможным, что такому человеку когда-либо могла потребоваться защита. Но мы смотрим на Уилсона с позиции двух мировых войн и множества «малых», крупных и второстепенных революций и подготовки к третьей мировой войне. У нас есть все основания с подозрением относиться к величию: великие мысли могут порождать убийства и убийц. Мы научились тому, что истина — путь тернистый.

Эдвард Уилсон был великим человеком.

Прежде всего он был христианином я имею в виду, — настоящим, чья религия служила поддержкой его жизни, каждой его мысли, с самого детства. Он происходил из квакеров, и его родители не испытывали сомнений, как должен воспитываться их сын: в те идиллические времена знали, что есть хорошо и что есть плохо.

Возможно, более всего Уилсон был натуралистом: любовь и понимание птиц и животных проявлялись в нем, словно в маленьком ребенке. Его художественный талант развился в процессе изучения биологии. Он стал потрясающим художником, хотя никогда и не обучался этому;

рисунки и акварели, выполненные им для экспедиций, отнюдь не работы дилетанта. Он был талантливым студентом-медиком, а затем и выдающимся врачом, однако из-за слабого здоровья оставил это занятие. Он заболел туберкулезом, возможно, из-за того, что требовал от себя слишком многого. Уилсон очень мало ел, одевался едва ли не в лохмотья и работал — что очевидно — слишком напряженно.

> *«Я не переношу людей, которые неизменно считают само собой разумеющимся, будто главной задачей человека является сохранение собственного здоровья и сил, зрения и чего там еще до шестидесятилетнего возраста. Как, скажите на милость, тогда дожить до тридцати? Я считаю, что вещь лучше носить, пока она хороша и нова, латая уголки, когда они истрепываются, а не тщательно прятать ее год за годом, пока, наконец, ее не изъест моль, и вы обнаружите, что она отнюдь не так хороша, когда наконец надумаете носить ее». [2]*

Каждое утро Уилсон вставал заранее, чтобы выполнить двухчасовую работу по собственному

толкованию Евангелий: он был не из тех, кто довольствуется мыслями других людей. Затем он покидал свое скромное жилище и шел через парк в больницу святого Георгия, проделывал там свою урочную работу и возвращался назад, дабы помочь в клубе мальчиков — мальчики были бедны, как только можно было быть тогда: вопиющая нищета. Он трудился полночи. Он был добрейшим из сыновей, лучшим из друзей, он был… Но с чего же начать, говоря о таком человеке? С самого раннего детства он поражал своей исключительностью буквально каждого, и биографические заметки о нем более похожи на нескончаемую дань уважения.

«Я близко знал Уилсона как по Кембриджу, так и по работе в больнице святого Георгия. И в силу красоты характера и возвышенности устремлений он выделялся из всех известных мне людей. Студентом он вел жизнь в аскетической чистоте, но быстро завоевывал друзей и видел хорошее в самом необузданном студенте, ибо его чистота была сродни пламени, что не боится загрязнения. Он был весьма популярен даже среди фривольных

студентов, потому как обладал тем пропуском, что позволял проникнуть в самую душу Колледжа — склонностью к восхитительному юмору. Невозможно было познакомиться с ним, не став при этом лучше, и на долю лишь немногих выпало счастье быть так глубоко любимыми его друзьями...» [2]

Эту оценку дает ему биограф, Джордж Сивер. Вот что еще он пишет:

«Достаточно сказать, что Уилсон был непреложно убежден, что в человеческой жизни нет такой ситуации, какой бы неблагоприятной она ни казалась, которую нельзя было бы обратить — если в душе живет Бог — в совершеннейшую радость. Что для того, чтобы добиться подобного полнейшего совершенства, необходимо пройти через весь возможный опыт и научиться любить всех людей; что любовь личная должна перерасти в любовь всеобщую; что ценность жизни не должна определяться ее результатами в достижениях или успехом, но единственно побуждением сердца и усилием воли;

что ценность опыта зависит не столько от его разнообразия или продолжительности, сколько от интенсивности; и что одним-единственным искренним сосредоточенным усилием короткая жизнь могла бы достичь уровня, которого не достигли бы и века обыкновенного развития, поэтому человек, ведущий жизнь таким образом, вскорости становясь совершенным, претворяет долгие годы». [2]

«Это хвастовство», — продолжает он; и действительно, это хвастовство. И тем не менее столь многие люди были убеждены, что слова подобного рода применимы к Эдварду Уилсону.

Разве этот человек не был святым? Разве он не обладал всеми качествами святых в монастырях или вне их? Чем таким обладали святые в плане достоинств, любви к Богу, самопослушания, любви к равным себе, чем не обладал Уилсон?

Не был он и «хорошим» человеком без приложения каких-либо усилий, ибо ему приходилось работать над самодисциплиной; впрочем, Уилсону могло помогать то, что он воспитывался в семье, где быть честным, добрым, владеющим собой и прочее считалось желательным. Напро-

тив, ему было трудно. В детстве он отличался неприятными чертами характера — быть может, потому что от него требовали слишком многого? Уилсон был нетерпим и требователен: школьные товарищи побаивались его «презрительного взгляда» и «едкого языка». Тем не менее в экспедициях, в условиях, когда, как мы все знаем, даже обычно дружелюбных людей может охватить беспричинная ненависть и раздражение, в ситуациях, когда другие были угнетены, угрюмы, неуживчивы и неразумны, доктор Уилсон оставался «неунывающим, готовым прийти на помощь, уравновешенным, всегда державшим себя в руках». Он научился не осуждать и не порицать. И вместе с тем, совершенно в стороне от требований, что возлагала на него работа в экспедиции, его занимали личные тайные усилия — тайные потому, что он не говорил о своей духовной жизни с коллегами; они не знали источника той силы, что каждый в нем ощущал, все выяснилось позже, из его писем и дневников.

> *«Жизнь не есть наше неизменное место пребывания — и я ощущаю это все больше по мере того, как старею, и часто кажется, что дней для служения, делания,*

творения впереди столь мало — и столь мало позади. Поражает и совершенно сбивает с толку, когда пытаешься задуматься, каково же назначение нашей короткой жизни на Земле — всего лишь посещения, — и как безнадежно должно оно отражать наше воздействие на ту крохотную часть мира, с которой мы вступили в соприкосновение. Я испытываю чувство настоятельной необходимости постоянно быть чем-то занятым, ежечасно, днем и ночью, прежде чем придет смерть, или я выполню достаточно из того, что от меня ожидают; на счету каждая минута, хотя мы столь часто тратим впустую часы — не потому, что желаем покоя, и не потому, что порой того требуют обязанности, но исключительно из необходимости приложения… Чем больше делаешь, тем больше делать приходится…» [2]

Этот человек был из того материала, из которого изданы фанатики и слепые последователи в религии и в политике — но таковым он не был, определенно не был, и все же… Быть может, он

был — совсем чуточку — сумасшедшим?

Ведь есть же это Зимнее Путешествие, на котором он настаивал вопреки советам Скотта, через которое он все-таки прошел и которое столь великолепно высветило все его качества — и от которого юный Черри-Гаррард так и не оправился.

Но все-таки часто он не позволял себе ударяться в крайности, когда этого можно было бы ожидать: например, он был патриотом *Англии,* но он оплакивал то, что она делала во время Англо-бурской войны, и его отношение к своей любимой стране разделялось таким же презренным меньшинством, как и тем, что некоторое время спустя возненавидело Первую мировую войну. Интересно, как бы Уилсон воспринимал ее, со всей ее глупостью и зверствами? Но нет, решить это нелегко, и именно это и создает в человеке притягательность.

> *«Все мы либо слишком боимся, либо слишком эгоистичны, чтобы донкихотствовать даже в малом. Все мы живем по практическим правилам — по законам Общества, законам Земли, законам Церкви и множеству других; тогда как все мы*

подчиняемся единственно лишь закону собственной совести». [2]

Сегодня я была на книжной ярмарке, организованной благотворительной организацией, занимающейся помощью голодающему третьему миру, — Оксфордским комитетом помощи голодающим, — и натолкнулась на книгу адмирала Эдварда Эванса об экспедиции 1911–1912 гг.: «Юг со Скоттом». Это живая и основанная на фактах книга. Автор не считает, что судно, которым он командовал, «Терра Нова», было позором и являлось непригодным для перевозки людей и животных: вовсе нет, он наслаждался трудностями. Он рассматривает Зимнее Путешествие наравне со всем остальным, хотя и признает, что перенесенные испытания были, возможно, неблагоприятными. Он упоминает, что Кэмпбеллу и его отряду пришлось перезимовать в той ледяной берлоге.

Вот человек, который научился не осуждать превосходящих его.

«Несомненно, никто из живущих на земле не смог бы занять место Скотта как руководителя нашей экспедиции — подобных ему не было. Он был Душой, Умом

и Капитаном». [3]

Что ж, таков был дух времени.

Вернусь от социологических размышлений к своей собственной книге. Не могу сказать, что я наслаждалась, когда писала ее, ибо мне казалось, что снег, лед и холод проникли в меня и замедлили мои мысли и жизненные процессы.

Или, быть может, происходило нечто другое. Я закончила писать книгу на следующий день после смерти той, кого я знала долгое время, хотя до тех пор мне не приходило на ум проводить какие-то параллели. Она умирала долгое холодное время, и она тоже голодала, ибо отказывалась принимать пищу и питье, дабы ускорить ход вещей. Ей было девяносто два, и это ей представлялось вполне разумным.

Мне кажется, что мы все-таки не знаем себя в полной мере; что мы недостаточно часто задаемся вопросом: что, если наша жизнь, определенные события и периоды в ней не вправе быть аналогами, или метафорами, или отголосками процессов и явлений, происходящих в других людях? — или в животных? — или даже в лесах, океанах, скалах? — в этом нашем мире или, быть может, в других мирах и измерениях?

Дорис Лессинг

Библиография

1. Apsley Cherry-Garrard. The Worst Journey in the World. London: Chatto & Windus, 1913.

2. George Seaver. Edward Wilson of the Antarctic: Naturalist and Friend. London: John Murray, 1933.

3. Edward Evans. South with Scott.